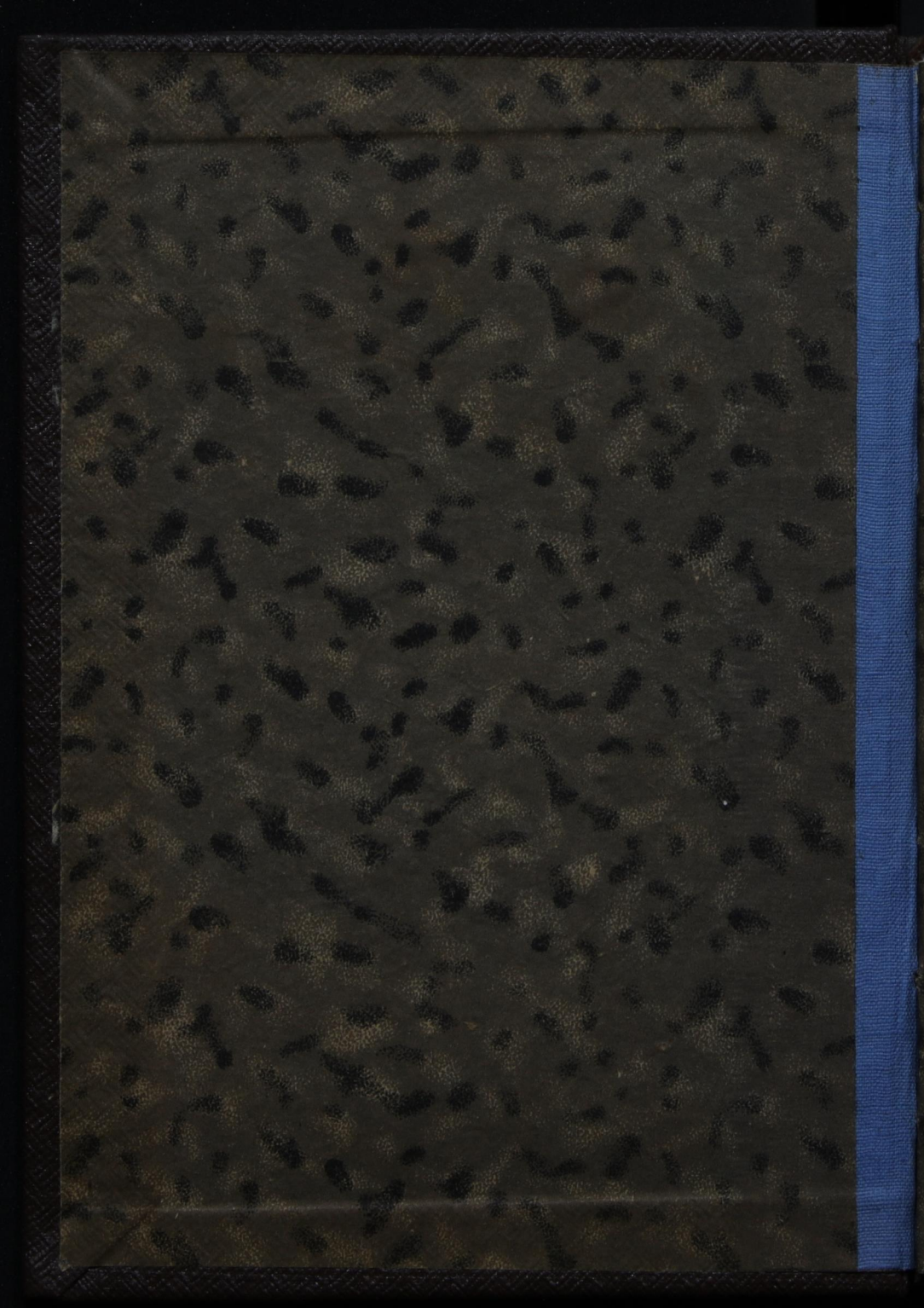
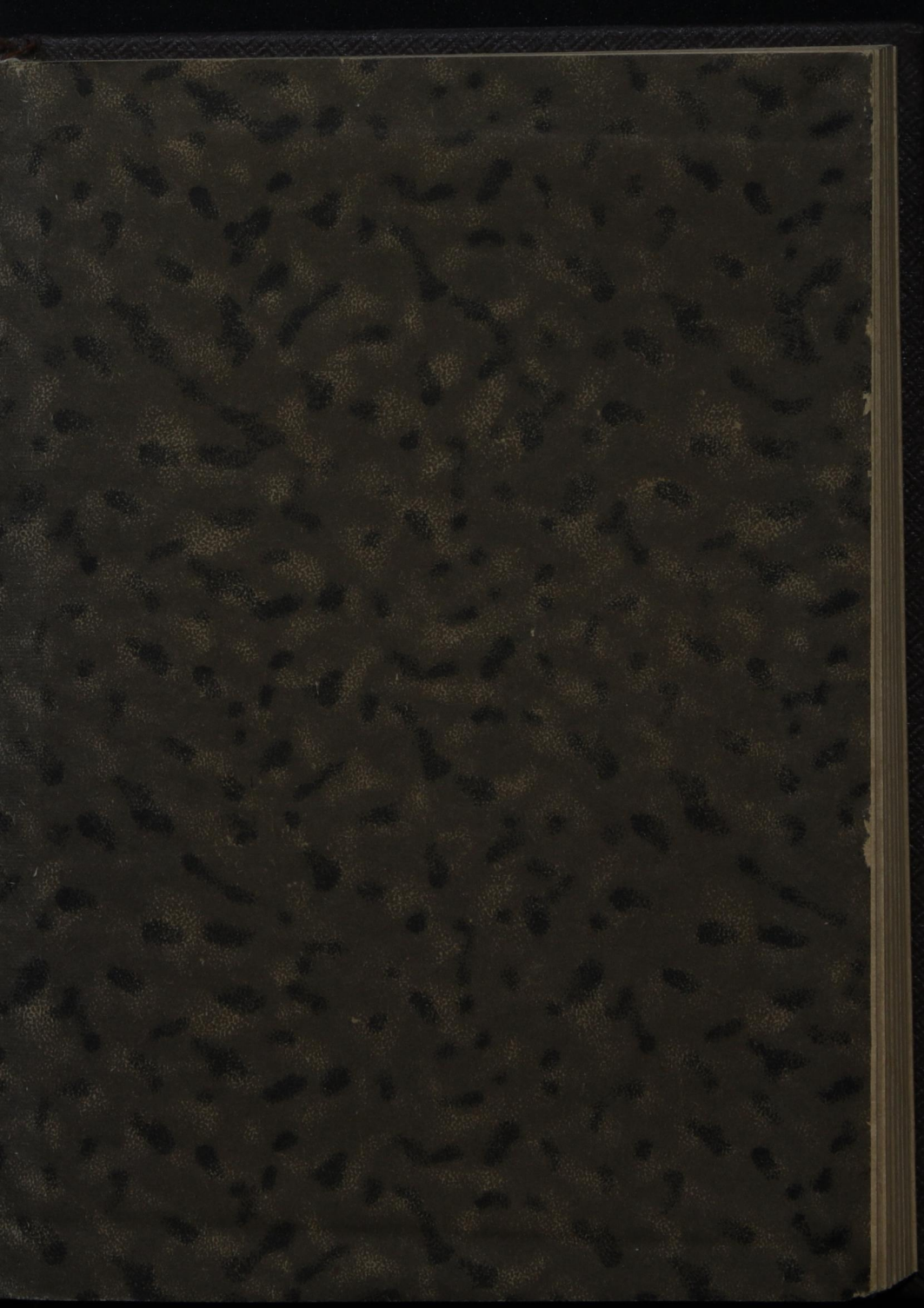
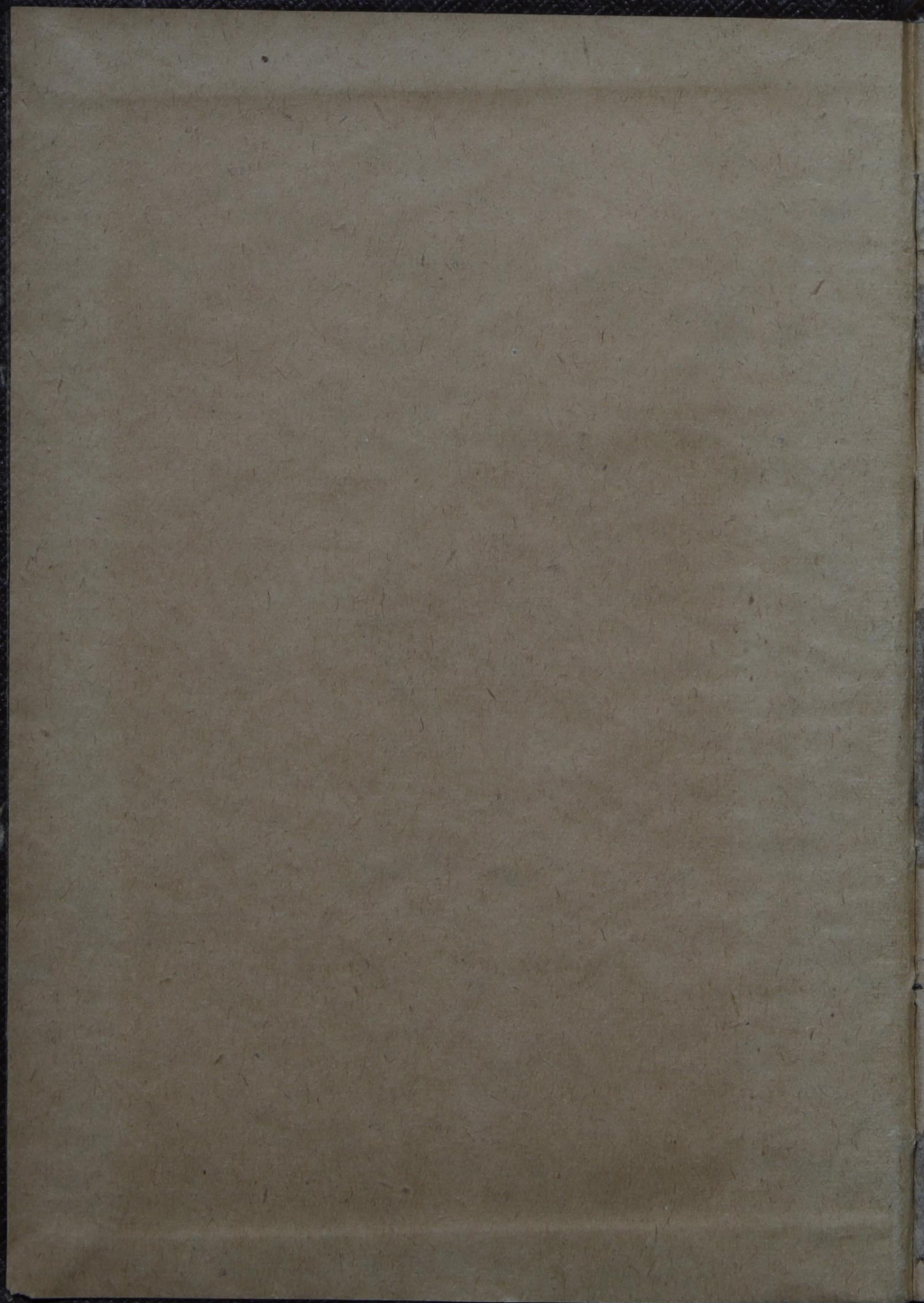












8-10-18

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

АНАТОЛЬ ФРАНС

ANATOLE FRANCE

ЖИЗНЬ В ЦВЕТУ



ПЕРЕВОД Н. ЭФРОСА
РЕДАКЦИЯ А. СМЕРНОВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПЕТЕРБУРГ — МОСКВА. МСМХХІІІ

15/4-18

Отпечатано 15,000 экз.
в Тип. Коминтерна
Гиз. 4109 Главлит. 675
Петербург.

ЖИЗНЬ В ЦВЕТУ

LA VIE EN FLEUR

1922

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Эта книга представляет продолжение «Маленького Пьера», опубликованного два года назад. «Жизнь в цвету» подводит моего друга к порогу зрелой жизни. Эти две книги, к которым можно присоединить «Книгу моего друга Пьера Нозьера», содержат под вымышленными именами и с присоединением некоторых вымышленных подробностей, воспоминания о моих первых годах. В конце этого тома я расскажу, как я был приведен к мысли воспользоваться таким вымыслом, чтобы опубликовать подлинные свои воспоминания. Мне доставляло удовольствие закрепить их на бумаге, когда ребенок, которым я был, стал для меня совершенно посторонним человеком, и я мог, в его обществе, отвлечься от своей личности. Я вспоминал беспорядочно, без системы. Память у меня прихотливая. Госпожа де-Кайлюс, уже старуха и обремененная заботами, как-то жаловалась, что ее ум не настолько свободен, чтобы она могла диктовать *мемуары*. «Ну что ж,—сказал ей ее сын, готовый писать за нее,—мы озаглавим это *Воспомина-*

ниями, и вы не будете стеснены никаким хронологическим порядком, никакой связностью рассказа». Увы, в воспоминаниях маленького Пьера не будет ни Расина, ни Сэн Сира, ни двора Людовика XIV, ни тонкого стиля племянницы госпожи де-Мэнтенон. В ее время язык сохранял всю свою чистоту; с тех пор он значительно испортился. Но лучше всего говорить так, как все говорят. Эти страницы полны мелочей, изображенных с большою точностью. И меня уверяют, что эти пустяки, идущие от правдивого сердца, могут нравиться.

Дают слишком мало.

В этот день Фонтанэ и я, оба—ученики пятого класса г. Брара, уйдя из коллежа в половине пятого после звонка, пошли, как всегда, по улице Шерш-Миди. С нами шли госпожа Туртур, близкая к семье Фонтанэ, и Жюстина, которую мой отец прозвал «катастрофой», потому что вокруг нее обычно бушевали все стихии—огня, воздуха и воды, и бывшие в ее руках предметы вдруг разлетались во все стороны. Мы добирались до дому, и нам предстояло сделать вместе довольно большой путь. Фонтанэ жил в конце улицы Сэн-Пэр. Был декабрьский вечер. Уже совсем стемнело, тротуар был мокрый, и газовые рожки просвечивали сквозь бурый туман. Тысячью шумов наполнял город улицу, но их поминутно пререзали острые выкрики и звонкий смех Жюстины, задевавшей прохожих концами своей шерстяной косынки или карманами своего фартука.

— Дают слишком мало!—неожиданно сказал я Фонтанэ.

Я высказал эту мысль с интонацией искренней убежденности и как плод долгих размышлений. Мне казалось,

что я извлек эту редкую истину из глубин моей совести и, как таковую, я сообщал ее Фонтанэ. Конечно, больше похоже на правду, что я лишь повторил фразу, где-то мною слышанную или вычитанную. Я был в ту пору склонен считать своими чужие мысли. Позже я исправился, и теперь знаю, сколь многим обязан другим, как древним мыслителям, так и современным, как моим согражданам, так и иноземцам, в особенности же грекам, которым обязан всем и которым хотел бы быть обязанным и еще большим: ведь от них получили мы все то мудрое, что знаем о вселенной и о человеке. Впрочем, не об этом речь.

Услышав от меня это утверждение—что дают слишком мало,—Фонтанэ, очень маленький для своих лет, вскинул свою тонкую лисью головку и вопросительно поглядел на меня. Фонтанэ всегда был готов вникнуть в любую мысль, чтобы извлечь из нее пользу. Достоинство этой идеи не сразу было им уловлено, и он ждал об'яснений.

Я заговорил снова, с еще более подчеркнутой серьезностью:

— Дают слишком мало!

Я об'яснил свою мысль:

— Слишком мало подают милостыни. Это не хорошо: нужно, чтобы каждый отдавал бедным все, что у него есть лишнего.

— Пожалуй,—ответил Фонтанэ, немного подумав.

Ободренный одним этим словом, я предложил своему дорогому товарищу образовать общество благотворительности. Я знаю, что он предприимчив, что он изобретателен, и

был вполне уверен, что вдвоем мы могли бы наделать великих дел.

После краткого обсуждения мы пришли к соглашению.

— Сколько у тебя денег для раздачи бедным?—спросил Фонтанэ.

Я ответил, что могу вложить в дело сорок девять су, и, если бы Фонтанэ внес столько же, мы могли бы немедленно приступить к раздаче милостыни.

Оказалось, что Фонтанэ, хотя он был единственным сыном богатой вдовы и на Рождестве получил в подарок пони с седлом, в данную минуту может располагать лишь восемью су. Но, как он основательно заметил, не было необходимости, чтобы с самого начала каждый из нас внес одинаковую сумму. Позже он даст больше.

Дальнейшее размышление мне показало, что трудность нашего начинания была в самой его простоте. Не было ничего проще, как отдать наши пятьдесят семь су первому слепому, которого мы встретим. Сказать откровенно, лично я не считал себя достаточно вознагражденным за свое великодушие взглядом какой-то сидящей на задних лапах собачонки с чашкой в зубах. Мне хотелось иной награды за свое милосердие. В двенадцать лет я был немножко фарисеем. Да простится мне это. Впоследствии я слишком дорого поплатился за это.

Оставив Фонтанэ у подъезда его дома, я повис на руке у Жюстины, которую очень любил, и, полный своих великодушных планов, спросил:

— Как, по-твоему, достаточно дают? Скажи.

Она молчала, из чего я заключил, что она не поняла меня, и это не удивило меня: она никогда не слушала меня и редко понимала. И все-таки мы чудесно обо всем договаривались. Я стал объяснять. Из всех сил тряс я ее свежую, крепкую руку, чтобы удержать ее легко рассеивающееся внимание, и кричал ей:

— Жюстина, разве ты думаешь, что бедным подают достаточно? Я думаю, что нет.

— Нищим всегда подают слишком много,—ответила она.—Они—бездельники. Но есть бедные стыдливые, которые не просят, и вот их-то нужно пожалеть. Везде есть такие, только они скрываются. Они предпочитают страдать, но не просить.

Я понял; мое решение было принято. Мы с Фонтанэ отдадим все свои силы отыскиванию таких стыдливых бедняков.

В тот же вечер, по неожиданной прихоти судьбы, я получил от дедушки, человека бедного, но щедрого, монету в сто су. На следующее утро за уроком г. Брара я знаками сообщил Фонтанэ, что мы располагаем уже для раздачи стыдливым беднякам капиталом в семь франков восемьдесят пять сантимов. Г. Брар заметил мои жесты, решил, что я рассеян, и поставил мне дурной балл за поведение. О, в какую горькую усмешку сложились мои губы, с каким презрением смотрел я на этого глупого наставника, пока он отмечал мое дурное поведение в журнале, уже испещренном многими моими прегрешениями, потому что—к чему скрывать?—на взгляд г. Брара, провинностям моим не было числа.

За большой переменной Фонтанэ щелкнул пальцами в знак радости и дал мне понять, что когда-нибудь его тетка, очень богатая, даст ему вдвое, втрое больше того, что я вношу, а пока я должен передать ему эти семь франков восемьдесят пять сантимов. Это, по его мнению, необходимо для отчетности.

И мы решили в тот же вечер, уйдя из коллежа, начать поиски стыдливого бедняка. Обстоятельства благоприятствовали этим поискам. Туртур простудилась и не выходила, и Жюстина, моя Жюстина, одна провожала Фонтанэ и меня до дому. А Жюстина, красные щеки которой как будто всегда готовы лопнуть, Жюстина, которая слишком была поглощена борьбою с непрестанно сыпавшимися на нее катастрофами, казалось нам, не способна следить за нами и лишена какого-либо авторитета. Мы стали прилагать все свои силы, чтобы разыскать в толпе горожан стыдливого бедняка; но казалось, что их не хватит; ведь его единственным признаком было то, что он страдает молча. Однако, нам показалось, что мы напали на такого. Он шел, прихрамывая, одетый в какую-то жалкую юбку.

Изо всех глаз смотрели мы на него.

— Вот,—прошептал я на ухо Фонтанэ.

— Наверное,—ответил он.

Но на углу улицы Вавэн этот человек вошел в кабачок с расписанной решеткой и с гроздьями винограда из железа. Мы видели, как он выпил стакан вина у стойки обитой цинком, сверкавшей на свету.

— Кажется,—сказал я,—это пьяница.

— Чорт возьми, не трудно было догадаться,—ответил Фонтанэ, и я подивился его прозорливости.

Первая неудача нас еще не обескуражила; мы продолжали свои поиски в сопровождении Жюстины; она совсем запыхалась, следуя за нами в тысячи извивов нашего странного путешествия. На перекрестке Круа-Руж мы заметили молоденькую крестьянку, с корзинкой под мышкой; она читала по складам об'явления и казалась весьма удрученной. Уверенный, что мы нашли в ней то, чего искали, я очень вежливо подошел к ней и снял шляпу:

— Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезным?

Она в ответ только сердито поглядела на меня. Я повторил свое предложение. Очевидно, ее в деревне слишком уж энергично предупреждали насчет стерегущих девушку в Париже опасностей и дали преувеличенное представление о скороспелости порока в городах. Правда, я был для своих лет довольно высокого роста, но всетаки ничего страшного в моем виде не было. Ее страх, должно быть, украсил меня усами; она обозвала меня нахалом и дала пощечину. Моя невинность помешала мне сразу почувствовать, как много лестного было в этой пощечине. Фонтанэ, с любопытством следивший за этой сценой, закудаhtал от радости. Тогда вмешалась Жюстина. Она обозвала молодую крестьянку бабой и дурой и пригрозила, что побьет ее. Потом обратилась ко мне:

— Это отучит вас, господин Пьер, приставать к девушкам. Вы не умеете себя держать, вы просто сорванец.

— Этого не случилось бы,—сказал мне Фонтанэ,—если бы ты предоставил мне поговорить с крестьянкой. Но ты все хочешь делать сам, ни с кем не посоветовавшись.

Упрек был незаслужен. Ссылаюсь на всех свидетелей моей жизни.

Мы согласились, что отыскать стыдливого бедняка—дело трудное, сложное, рискованное, и предались ему еще с бóльшим жаром. Мы дошли уже до улицы Сэн-Пэр, нельзя было терять времени. Мы устремились вслед за человеком, совершенно очевидно—несчастливым: он согнулся под тяжестью забот, его штаны вытянулись на коленках, шляпа была грязная, нос опустился к самому рту,—все указывало на стыдливого бедняка. Мы уже собирались подойти к нему, как вдруг Фонтанэ дернул меня за руку:

— Осторожнее. У него—орден.

И в самом деле, в петлице его сюртука была красная ленточка. По ней мы поняли, что этот господин—не только не нищий, но принадлежит к числу самых почтенных лиц общества. Может быть, мы немного преувеличивали; но мы были воспитаны в уважении к знакам отличия.

Через несколько шагов неутомимый Фонтанэ воскликнул:

— Вот! вот!—и указал мне на неважно одетого старика. Он на ходу что-то искал у себя в карманах и, очевидно, не мог найти, потому что не прекращал поисков. Чего он искал? Денег, табаку? Как знать. Но для Фонтанэ тут был знак несомненный, верное указание, что это—стыдливый бедняк. Он не может решиться попросить милостыни и упорно ищет в своих карманах благ, каких там уже нет.

— Заговори с ним,—сказал Фонтанэ.

— Нет, уж ты,—ответил я.—Ты только что сказал, что я не умею выражаться. Впрочем, ведь и деньги у тебя, ты и должен их предложить.

Этот довод убедил Фонтанэ, он забежал спереди к рывшемуся в карманах человеку, остановил его на узком тротуаре и, приподнимая фуражку, проговорил:

— Милостивый государь...

После этого вступления Фонтанэ, хотя он был по природе смел и даже дерзок, умолк. Вблизи у старика оказался вид человека состоятельного: золотая булавка, золотая цепочка. Я поспешил на помощь и тоже приподнял фуражку:

— Милостивый государь...—проговорил я вежливо слабым голосом.

И у меня не хватало смелости; я тоже больше ничего не сказал.

Видя наше смущение, этот человек назвал нас своими маленькими друзьями и спросил, чем может быть нам полезен.

Фонтанэ отличался необычайною находчивостью.

— Милостивый государь,—сказал он, ловко притворившись,—будьте так добры, где улица Турнон?

— Улица Турнон... Да вы, маленькие друзья, идете в противоположную сторону. Сверните в первую улицу направо, потом опять налево, потом в третью улицу...

Он припоминал и при каждом указании, которое делал, шарил в карманах жилета, точно там хотел найти затруднявшие его пункты маршрута.

Лисья мордочка Фонтанэ выражала притворную серьезность; я кусал себе губы; вдруг я расхохотался, мой товарищ тоже, и мы побежали со всех ног, однако слышали, как опешивший старик назвал нас чудаками и шалунишками.

Жюстина, не понимая, почему мы вдруг так побежали, испугалась, что мы скроемся, может быть, навсегда, с ужасом подумала о том, как же она предстанет без меня пред моей матерью, и также бросилась бежать по полной народу темной улице, гналась за нами среди всяких препятствий, натыкаясь на людей и предметы, попадая под ручные тележки.

Она нагнала нас на углу Университетской улицы. Фонтанэ покупал каштаны на два су из кассы стыдливых бедняков. Жюстина стала нас бранить за наше поведение. Мы предложили ей один каштан. Плоть слаба: она его, ворча, с'ела.

Домой мы пришли с опозданием, одежда была в беспорядке. Жюстина была вся в грязи.

— Ну, и вид у вас, голубушка,—сказала ей моя мать.

Жюстина побежала на кухню и, чтобы нагнать потерянное время, опрокинула в печь целую мерку угля. Она плакала. От отражений огня лицо у нее стало пурпуровым, и слезы сверкали, как те, какие проливала при пожаре Трои дочь Приама, чрезмерно Аполлоном любимая:

Ad coelum tendens ardentia lumina, frustra.

Я уже отчаивался найти стыдливого бедняка. Но несколько дней спустя Фонтанэ за большой переменою рас-

сказал Ла-Шенэ о наших планах и наших незадачах, при чем очень ловко все, что было в них смешного, приписал мне, и спросил, не знает ли Ла-Шенэ какого-нибудь стыдливого бедняка, такого бедняка, который не просит милостыни. Ла-Шенэ пользовался в нашей среде самым большим уважением.

Он ответил, что его мать помогала когда-то бедняку такого рода.

— Он умер, но после него остались вдова и двое детей. Мама отдала им мое старое платье. Вдова Баргуйе,—прибавил Ла-Шенэ,—живет в проулке Дракона.

И он назвал номер,—я теперь забыл его. Мы с Фонтанэ решили отнести вдове Баргуйе сумму, предназначенную нами для таящейся бедности, или по крайней мере то, что от нее оставалось, так как, подстрекаемый Фонтанэ, я каждый день брал из нее немного на пирожные или на плитку шоколада. Фонтанэ тем настойчивее убеждал меня делать эти траты, что скоро собирался сам внести в общую кассу громадные суммы.

По средам, в свободный у Жюстины день, моя мать позволяла мне уходить из дому с одним Фонтанэ, внушавшим ей полное доверие. В некотором отношении она была права: Фонтанэ никогда не делал глупостей; зато он усердно побуждал других делать их. Моя мать не могла проникнуть в глубину характера Фонтанэ,—он в ее присутствии держал себя как нельзя лучше и пускал в ход все доступное ему лицемерие, чтобы завоевать себе общее уважение. Мы воспользовались этим доверием к нему,

чтобы отправиться к вдове Баргуйе. Улица Рэнн не была еще проложена, и в закоулок Дракона попадали через узкий проход под сводом, на котором болтался страшный дракон. Он и сейчас существует: это остаток отличного стиля Людовика XV. Его выкрасили в зеленую краску. Он был бы много красивее серый, под цвет камня ¹⁾). В те далекие времена, о которых я говорю, он был ярко-красный и оттого казался еще страшнее. В его пламенной пасти как будто происходило что-то ужасающее, потому что при приближении был слышен шум, по сравнению с которым шум валяльных мельниц, так перепугавших Санчо Пансу, мог бы показаться нежным журчаньем. В действительности этот оглушительный грохот производили сотни молотов, стучавших в железо. Проход, населенный циклопами, был загорожен решетками, выкрашенными, как и дракон на своде, в красный цвет. Мы шли среди громахающего железа. Приключение обещало быть достаточно чудесным. У самого конца прохода, у номера, указанного нам Ла-Шенэ, мы толкнули дверь и попали в липкую мглу; сильно пахло плесенью; мы натыкались на старые бочки, на приставные лестницы, на гнилые доски. Шум бесчисленных молотов, который только что оглушал нас, теперь стал много тише, и это нас успокоило. Скоро наши глаза слегка привыкли к темноте, и мы разглядели очень крутую

¹⁾ Недавно один парижанин, любитель древностей и достопримечательностей своего города, сказал мне, что не стоит очень уже ценить этого дракона, что он гипсовый и не такой старинный, каким кажется.

виту ю лестницу с толстой жирной веревкой, вместо перил. Вскарабкавшись ощупью ступенек на двадцать, мы нащупали дверь; не находя звонка, я тихо постучал. Фонтанэ стукнул сильнее.

— Кто стучит?—спрашивает грубый голос.

— Мы.

— Что вам нужно?

— Госпожу Баргуйе.

Шаги медленно приближаются, щелкает замок, дверь открывается. Появляется госпожа Баргуйе с пылающим лицом, с прической в роде змеиного гнезда, в цветной кофточке, плохо прикрывающей грудь.

Выложенная плитами комната служила и кухней и спальней; вся мебель состояла из одной большой кровати, второй поменьше, деревянного буфета и нескольких соломенных стульев. Один был на трех ножках. По стенам кухонная посуда и священные картинки. Камин украшали несколько бутылок и грязных стаканов.

Вдова более мягко спросила, что нам нужно.

— Вы бедны, не правда ли, сударыня?—спросил Фонтанэ.

— Увы, да!—вздохнула вдова.

Она предложила нам сесть. Фонтанэ, хотя он был много меньше меня, показался ей более важным, и она усадила его в кресло с дырявыми подушками, а мне подставила трехногий стул. Вдыхая, рассказала она нам про свои несчастья, проистекавшие от ее вдовства. Ее муж занимал ответственную должность в Берси. Но он умер после долгой болезни, и пришлось все распродать. Сама она—

матрасница, но растеряла всех заказчиков. Она много говорила о двух своих детях, Алисе и Фирмэне, совсем еще маленьких. Так трудно их воспитывать... Сейчас они без дела и пошли искать работы.

С восхитившей меня ловкостью и тактом, Фонтанэ передал ей денежное вспомоществование, не обмолвившись словом о моем участии в этом; он знал мою скромность. Она назвала его господином виконтом и благодарила со слезами, благословляя Господа, пославшего ангела помочь ей.

Она спросила, нет ли у нас случайно старого бедья и обуви, которые так ей нужны. Просила дать все, чего мы больше уже не носим: она сумеет все использовать.

Она осведомилась, кто прислал нас, а когда узнала, что ее адрес дал нам сын госпожи Ла-Шенэ, замолчала, и у меня возникло впечатление, что у нее не очень хорошие отношения с этой благотворительницей.

Она очень внимательно расспросила о наших именах, о том, кто наши родители, и заставила нас несколько раз повторить наши адреса, точно хотела заучить наизусть. Мы встали и попрощались.

На пороге она снова сказала нам, как ей нужны платье и белье, и для нее, и для Алисы и Фирмэна, очень настойчиво приглашала опять побывать у нее, обещала помолиться за нас господу богу и предостерегала, чтобы мы не свалились с лестницы, потому что там темновато.

Я вышел из этого жилища нищеты с сердцем не растроганным и безо всякой жалости к вдове Баргуйе.

Напротив, лицо Фонтанэ выражало такую глубину благочестивого усердия, такую высокую радость от оказанной ближнему помощи, такой пыл сострадающей души, что, когда я сравнил себя с ним, мне стало стыдно.

— Дают слишком мало!—вдохнул мой друг.—Какой радости лишают себя!

И его остренькая мордочка сияла святою радостью.

Эта его мысль, это выражение лица, этот проникновенный вид произвели на меня впечатление, и я силился испытать такие же красивые чувства, как Фонтанэ.

— Чем это от тебя пахнет, Пьер?—спросила меня мать.

Тонкое обоняние позволяло ей обычно угадывать, в каком обществе находились в ее отсутствие те, кого она любила. Но доверие к Фонтанэ устраняло в ней какую-либо тревогу. И она не настаивала на своем вопросе.

Не чувствуя никакой нежности к вдове Баргуйе, я все-таки решил продолжать оказывать ей свои благодеяния. Это было не легко. За целую неделю я мог скопить только двадцать пять сантимов, сумму слишком ничтожную для матери с двумя детьми. Фонтанэ еще ничего не получил от тетки. Мучимый эгоистическим желанием отдавать и помня, что вдова Баргуйе настойчиво просила старого белья, я заглянул в шкаф, где мать держала мои кальсоны и рубашки, и у меня явилось искушение взять несколько штук, чтобы утолить свою жажду благотворительности. Когда наступила опять среда, это искушение стало neodолимым. Я отнюдь не обольщался насчет законности такого

смелого поступка. В ту пору у меня были взгляды на собственность куда более строгие, чем теперь,—взгляды традиционные. Я считал, что мое носильное белье принадлежит не мне, потому что не я за него платил. Теперь вопрос кажется мне не столь простым. На происхождение и прирост собственности я смотрю совсем по-иному, чем большинство моих современников. Но в то далекое время, в которое переносит меня мой рассказ, я был так мало последователем Прудона, как только можно себе представить, и с совершенною ясностью отличал чужое от своего. Словом, по моему чувству, по моим принципам, наконец, согласно моей личной морали, я не мог распоряжаться своими вещами. Совесть определенно запрещала мне это. Я не послушался совести, пробрался к себе в комнату, быстро отворил шкаф (припоминая, это был маленький английский шкаф, очень простенький, красного дерева; мне он казался отвратительным, хотя был наверное прелестным; но тогда никто не находил его красивым). Не выбирая, почти наудачу, я набрал небольшой сверток, сунул под пальто и тотчас же убежал вместе с Фонтанэ. Если угодно знать, я унес, насколько помню, две или три ночных рубашки, один шерстяной, а может быть льняной, жилет и пол-дюжины ночных колпачков, поистине отвратительных, «шапочек с метелкой»,—этих настоящих эмблем спокойного буржуа. Конечно, я сделал этот выбор второпях, но когда я говорю, что сделал его случайно, я несколько подгримировываю правду. Я ненавидел эти колпаки из бумажной материи; отделаться от них, отдав как

милостыню, доставляло мне двойную радость, и не без умысла забрал я их побольше.

Еще и сейчас бумажный колпак показался бы мне чем-то отвратительным, если бы я не помнил, что Жаннетон, говорят, увенчал им маленького короля Ивето. Но это уж выходит за рамки моего рассказа. Фонтанэ, который неделю назад так хорошо говорил о радостях благотворительности, больше не интересовался вдовой Баргуйе. Он отказался пойти со мной. Он собирался итти стрелять из карабина в балагане, только что построенном на бульваре Обсерватории. Я ему заявил, что у меня под пальто старое белье для двух детей бедной вдовы. Он посоветовал мне отнести сверток домой, а еще проще—бросить в отверстие сточной трубы. Я мог добиться от него только того, чтобы он подождал меня у проулка Дракона, пока я буду выполнять одно из семи дел милосердия, одевая тех, которые наги. Госпожу Баргуйе я застал еще более раскрасневшейся и воспламененной, чем в первый раз, и змеи ее волос еще больше торчали во все стороны. Она стала расспрашивать меня о маленьком виконте (так звала она Фонтанэ) и, когда узнала, что он не придет, видимо сильно огорчилась.

— Он такой красавчик,—сказала она.—И потом сразу видно, что он из большого света.

Алисы и Фирмэна опять не было дома: они ушли искать работы. Их мать с благодарностью, показавшеюся мне довольно умеренной, приняла принесенные для них вещи. Она настойчиво, даже с угрозами, просила меня не говорить дома, кому я отдал это белье; предупреждала,

что если я открою тайну, на меня обрушатся великие беды. Так как я не давал ей никаких обещаний, она заговорила по-другому, начала стонать, плакать, призывать бога во свидетели ее несчастий и ее добродетелей; потом, налив в стаканчик немного красной жидкости, предложила мне.

— Это из косточек,—сказала она,—очень полезно, моя крошка.

Я отказался. Она настаивала. Все змеи ее прически заболтались у нее на голове. Испугавшись, я выпил. Она спросила, не могу ли я дать ей немного денег, чтобы заплатить булочнику. Я смущенно ответил, что у меня нет. Как говорит трагический поэт, «в бегстве быстром искал я спасенья».

У входа в проулок я нашел Фонтанэ; он под красным Драконом, под шум молотков, доедал пирожок со сливами, только что купленный у булочника на углу. Он еле выслушал рассказ о моей беседе с вдовой Баргуйе и заявил, что не одобряет моего поведения и ничего не желает знать о таких глупых историях. Мы пошли стрелять из пистолета. Он убедил меня, что стреляет хорошо. Но доказал это лишь силою слова и вопреки свидетельству моих чувств.

Я был в тревоге; когда я поднимался домой по лестнице, беспокойство мое росло с каждой ступенькой. Я сурово осуждал себя и боялся, не без основания, что мой проступок стал известен. Жюстина отперла мне дверь. Ее голубые глаза были заплаканы, ярко-красные щеки были

готовы лопнуть. Она без слов, с ужасом поглядела на меня.

Мать я застал совершенно спокойной.

— От тебя пахнет водкой,—сказала она.—Где ты был? Кому ты отдал белье, которое унес?

— Одной бедной вдове, которая живет во дворе Дракона, госпоже Баргуйе.

— Я ее знаю,—сказала мать.

И, повернувшись к отцу, прибавила:

— Это та матрасница, которая украла у нас шерсть из матрасов, ее отовсюду прогнали за пьянство.

В досаде, что меня так обманули, я резко возразил, что это—женщина очень честная, благочестивая.

Я добавил, что у госпожи Баргуйе двое маленьких детей.

— Конечно,—ответил мне отец,—и их очень жалко. Но скажи мне, Пьер, почему ты не посоветовался с родителями прежде, чем раздавать милостыню? Нет ничего труднее. Признаюсь, этот вопрос о частной благотворительности сильно меня затрудняет. Было очень самонадеянно думать, будто ты, в твои годы, можешь один, без чужих советов, сделать то, что требует и большой опытности и многих размышлений. Мой друг Амедей Эннекэн осуждает благотворительность, и частную, и общественную, хотя он—человек нежной души. Он—коммунист и уверяет, что ничто не может быть достигнуто в смысле помощи нуждающимся без социальной революции. Я же склонен думать, что и социальной революции было бы недостаточно, а была бы еще нужна и революция моральная...

Мать прервала эту речь, очевидно казавшуюся ей не к месту и не ко времени.

— Пьер,—сказала она мне,—почему ты не попросил у меня позволения взять это белье?.. Ты не попросил потому, что предвидел, что я не разрешу. Это белье принадлежит не тебе. Идеи господина Амедея Эннекэна и господина Прудона еще не осуществились. Ты распорядился тем, что тебе не принадлежит. Я готова извинить тебя в виду твоих намерений, хотя ты действовал гораздо больше из гордости, чем из сострадания. А главное—очень легкомысленно. Фонтанэ уж конечно не сделал бы такой глупости. Я вполне уверена, он не сопровождал тебя к той женщине, которой ты отнес свои рубашки и ночные колпаки.

Я не мог удержаться, чтобы не поворчать по поводу этих незаслуженных похвал. Я знал, что Фонтанэ не лучше меня; и если теперь я в этом больше не уверен, то лишь потому, что научился сомневаться во всем.

— Выслушай меня, дитя мое,—продолжала мать с такой твердостью, какой раньше не бывало в ее упреках,—я укажу тебе на одно из последствий твоего опрометчивого проступка. Вскоре после того, как ты ушел, Жюстина обнаружила пропажу из шкапа. Жюстина—очень честная девушка, но ее положение прислуги заставляет ее всегда бояться, как бы ее не заподозрили. От страха, что ее обвинят в краже белья, с ней сделался нервный припадок. Она была вне себя. Я постаралась ее успокоить, сказала, что не подозреваю ее. Она кричала, что сейчас придут за ней

жандармы, и ее посадят в тюрьму за преступление, которого она не совершала.

Эти слова матери произвели на меня сильное впечатление. Я был в театре Конт на представлении «Сорока-Воровка или Служанка Палезо». Я понимал, какие страхи терзали сердце моей дорогой Жюстины.

Я побежал на кухню и нашел ее все еще в мрачном отчаянии. Я осыпал ее поцелуями и просил простить за мученья, которые я невольно причинил ей своей опрометчивостью.

— Ах, господин Пьер!—вырвалось у нее среди рыданий,—если бы вы были поумнее, вы бы не сделали такой вещи.

Жюстина была права. Будь я поумнее, я не сделал бы такой вещи.

II

Горести дочери троглодитов.

Я не замечал больше в Жюстине того пыла разрушения, который в первое время после поступления к нам обрушивался на вверенную ей посуду и на бронзовые вещи, поднесенные доктору Нозьеру исцеленными им признательными больными. Кухня уже не так часто оглашалась грохотом рухнувших тарелок и неистовыми криками молодой служанки, обжигавшей кончики пальцев вареным мясом. Реже дымила печь, и реже становились наводнения; лампы больше уже не падали неожиданно и без причины

на пол, и если мой отец продолжал еще говорить, что Жюстина изобилует катастрофами, если он называл это простенькое существо гением Шивы и обвинял в том, что она непрестанно тревожит покой, необходимый человеку науки,—то только потому, что он был, как и большинство людей, неспособен менять свои суждения в соответствии с новыми указаниями опыта и оставался при составившемся раз навсегда мнении и предвзятых идеях. Мать, более справедливая и лучше осведомленная, признавала, что на месте хаоса первых дней в этом уме рабыни обозначались слабые очертания порядка и первые аккорды гармонии.

Жюстина заключила мир со Спартаксом на стенных часах. Она уже не колотила его ручкой своей растрепанной метелки, и герой не грозил уже раздавить ее своей тяжестью. Но она попрежнему упорно отказывалась верить, что его зовут Спартаксом. Напрасно старался я, вооружившись историей и словарем, доказать ей это с наивным и вздорным педантизмом тринадцатилетнего гуманиста. Всем моим доказательствам она противопоставляла спокойную улыбку и неизменно отвечала:

— Нет, нет, барчук, его так, как вы говорите, не зовут. О, конечно нет!

— Да почему?

— Вы бы очень смеялись, если бы я вам сказала.

— Да как же его зовут, Жюстина, если не Спартаксом?

— Никак не зовут: это вы дали гадкое прозвище этому петрушке.

— Так знайте же, Жюстина, Спартак во главе войска рабов разбил четыре преторьянских армии, три консульских армии, а когда, наконец, Сенат выслал против него легионы Красса и Помпея и он был вынужден принять бой,—он убил своего коня...

Жюстина перебила меня:

— Мне надо итти мешать чечевицу, которая поставлена на огонь, нет ничего хуже этой чечевицы.

Я ухватил ее за фартук.

— Жюстина, эта статуя Спартака—лучшее создание господина Фоятье, друга папы; он теперь уже очень старый. В детстве он был пастухом и, пока пас скот, вырезал ножиком из дерева маленьких животных...

— Это как мой брат Фориэн,—сказала Жюстина.— Совсем крошечный, не выше этого, он, когда пас скотину, ставил силки для птиц и всякие западни. Был уже очень способный. Только мне нужно итти мешать чечевицу.

И Жюстина бежала в кухню, откуда шел уже острый запах горелого.

Этот *Спартак* милого Фоятье, оригинал которого, в Тюльерийском саду когда-то обращал к дворцу свои гневные взоры и грозящие кулаки, очень мне надоед, потому что я слишком много смотрел на него в детстве; да и безвкусен он. Менаж говорил о нем: «У этого малого слишком напряглись перепонки». Отец любил его. Между нами говоря, не думаю, чтобы отец когда-нибудь его видел, т.-е. то, что называется действительно видел. Он не обращал внимания ни на что, не имевшее отношение к его профес-

сии, за исключением видов природы, если они были веселые или величественные. В *Спартаке* дорогого его Фоятье восхищала его идея, символ. Он видел в этой фигуре освободителя угнетенных, и это зрелище было приятно его взору, потому что он любил справедливость и ненавидел тиранию.

— Если бы я был республиканцем,—говорил он,—я мог бы в полной мере допустить угнетение во имя основного принципа или высших целей; но я—роялист, а высший смысл существования короля, я скажу даже—единственный смысл,—обеспечивать свободу народов. Королевская власть, которая угнетает, бессмыслица.

А мой крестный на это отвечал:

— К несчастью, монарх обыкновенно отнимает у народа вольности, необходимые, чтобы обеспечить ему другие.

— Так бывает, когда верховная власть принадлежит народу.

— Да необходимо ли, чтобы один человек владел нашим добром для сохранения его нам, и не можем ли мы сами сохранить его?

— Владея всем, король, который—только человек, в сущности не владеет ничем, это только одна видимость, и пользуется всем народ. Напротив, в демократии партии, правящие и составляющие большинство, в действительности владеют общим достоянием: они обманывают народ, и он не пользуется ничем.

— Свобода—драгоценнейшее благо.

— Поскольку она утрачивается. Свободу отдаешь всякий раз, как ею пользуешься.

— Республиканец никогда не поступаетя принципом. Вот в чем разница.

Так спорили эти два прекрасных человека, родившиеся тотчас после бури, потрясшей общество до самых оснований, не убеждая один другого и не замечая очевидной бесполезности этих споров. Они были французы и любили красноречие.

У Жюстины был вздохатель, которому она отвечала взаимностью. Я догадался об этом. По каким признакам? По тому ли тревожному нетерпению, с каким она поджидала почтальона? По той ли радости, которая загоралась в ее глазах и делала красивым ее лицо, когда она получала письмо, и по тому, как она прятала его за корсаж? По лучам, исходившим от всей ее персоны? По странному и изменчивому ее настроению? По внезапным взрывам радости, по неожиданным, очень тихим слезам? Не знаю. Но для меня все в ней выдавало ее чувства.

Вдруг настроение ее омрачилось. Пропали на лице краски. Под глазами легли черные круги. Она похудела. Не добиться от нее слова. Ставшие тонкими, сжатые губы словно не пропускали каких-то жалоб и упреков. По вечерам она раскладывала на кухонном столе засаленные карты, допрашивала их, как оракулов, потом сердито смешивала. Незаметно она впала в глубочайшую апатию. Перестала следить за своими кастрюльками, забывала пить и есть. Движения у нее стали тяжелыми, медленными, и

если случалось еще, что она разбивала какую-нибудь тарелку, то уже не в дикой ярости, как прежде бывало, но вследствие какого-то оцепенения. Для меня было совершенно несомненно, что причиною всех этих мук была любовь и что Жюстина, наверное, потеряла возлюбленного. Да и не было возможности сомневаться. Я когда-то видел в магазине госпожи Летор гравюру, изображавшую «Покинутую» — молодую женщину в черном бархатном платье на каменной скамье в оголенном осенью лесу. Жюстина, неподвижно сидящая в кухне на соломенном стуле, походила на покинутую, хоть и была куда менее красива. То же скорбное и мрачное выражение, те же устремленные куда-то в пространство глаза, та же усталость в бес- сильно упавших на колени руках. Ее состояние возбуждало во мне чрезвычайный интерес. Я знал причину ее скорби и хотел, чтобы она призналась мне и позволила ее утешать, но не мог на это надеяться. Я отлично знал, что она ни за что не скажет мне о своем горе, потому что трудно говорить о таких вещах с мальчиком, да еще и потому, что она считала меня неспособным что-нибудь понять: у нее было определенное обо мне мнение. И я жалел ее молча.

Однажды утром она очень долго, больше часу, оставалась с глазу на глаз с матерью в комнате с розовыми бутонами. Я видел, как она оттуда вышла, в слезах, но с прояснившимся лицом, и я не сомневался, что она открыла свою печаль барыне и получила утешение. Не боясь уже быть нескромным, я сказал матери:

— Жюстину бросил ее жених. Это очень грустно.

Мать удивленно посмотрела на меня.

— Это она тебе сказала?

— Нет, мама, но я знаю.

И я объяснил ей, как я, только благодаря тонкости своего ума, проник в тайну Жюстины, но из скромности никому ничего не сказал.

— Очень хорошо быть скромным,—ответила моя милая мама,—но ты был бы еще скромнее, если бы не пытался узнавать тайн, которых ты вовсе и не должен знать.

Она говорила строго, но мне показалось, что она невольно восхищалась моей проницательностью.

III

Самовольные каникулы.

Призываю во свидетели невинную голову милого ребенка, каким я тогда был,—вся жизнь в школе у г. Кроттю была сплошною сетью несправедливостей. Этот человек прятал неправду, как паук—свою паутину. И могу сказать без лести себе, что из тридцати маленьких детей, обучавшихся у него, я чаще и сильнее всех испытывал его недобросовестность. Я не сохранил к нему горького чувства, ибо я с детства привык к тому, что люди грубы и жестоки. Но я не мог простить ему полного отсутствия изящества. Надо полагать, уже в том нежном возрасте предчувствовал я те высокие моральные истины, до кото-

рых потом поднялся, и какой-то близкий мне гений уже тогда нашептал мне, что единственные преступления, которым нет прощения,—преступления против красоты. Я стал на сторону Муз и Харит, которых г. Кроттю жестоко оскорблял всем своим существом. Несчастный! Жесткая кожа покрывала его толстые и короткие руки, коверкавшие все хрупкие предметы, на которые они опускались, и его не радовало никакое приятное прикосновение. Его недоверчивые глаза не умели останавливаться на красивых образах. Лицо у него было угрюмое; единственным доступным ему выражением удовольствия было—высовывать влажный язык, когда он вписывал в свой мерзкий журнал несправедливые наказания. Подобно тому мужику, о котором где-то говорит Непомюсэ́н Лемерсье, он веерообразно плевался и трубоподобно сморкался. Вот что меня в нем злило. Я не столько ненавидел его за то, что он делал, сколько за то, чем он был,—ненавидел ненавистью упорною, неизменною, не к меняющимся поступкам, но к неизменной его природе; может быть, эта сильная и богато-питаемая ненависть никогда не обнаружилась бы, может быть, сердце мое навсегда затаило бы ее в себе и не выдало, если бы не одно обстоятельство, вызванное самим же г. Кроттю.

Как-то однажды он рассказал нам, уж не знаю по какому поводу, историю сатира Марсия, который, осмелившись вступить в состязание с Аполлоном в игре на флейте, был побежден, и бог лиры содрал с него живого кожу.

— У Марсия,—сказал нам г. Кроттю,—было звериное лицо, приплюснутый нос, длинные и волосатые уши, лошадиный хвост и козлиные ноги.

Так изображенный сатир—это был сам г. Кроттю, вылитый он, за вычетом рожек, козлиных ног и лошадиного хвоста, чего мы никак не могли предполагать у питомца университета. Но все остальное было налицо, особенно же уши—огромные и мохнатые. Еле сдерживаемые смешки, перешептывания, восклицания, которыми был встречен портрет Марсия, ясно показывали, что весь класс уловил сходство. Вероятно, и я вместе с другими что-то выкрикивал, и я участвовал в этом концерте смешков; но я тотчас же погрузился в глубокое раздумье. Хотя я и был склонен осудить Марсия, я не решался вполне одобрить поведение Аполлона; сказать всю правду,—оно мне казалось жестоким. И все-таки, так как оно было направлено против существа, которое я отождествлял с г. Кроттю, я понемногу признал в этом поведении большую мудрость и высшую справедливость. Я набросал у себя в тетрадке портрет, в котором моя неумелая рука пыталась слить черты сатира и учителя-педанта. Лицо начинало уже приобретать выразительность и становилось в достаточной степени ужасным, когда г. Кроттю заметил это, выхватил у меня тетрадку, изорвал и назначил за мое искусство какое-то дикое наказание. Свершилось! Я отнесся к нему, как к врагу, и ответил на его нападение презрительным смехом. Поздняя мудрость говорит мне, что напрасно я слишком откровенно выказал свою ненависть.

С тех пор я старался показывать в его присутствии гордое презрение и преувеличивал производимое им действие. Я не скупился на всяческие выражения отвращения, какие только подсказывало мне мое молодое воображение.

Правду говоря, г. Кроттю кое-что замечал, а оттого его недоброжелательность ко мне еще увеличилась. С удвоенной силой стало обрушиваться его злое настроение на мои ошибки и проступки; особенно же не прощал он мне того, что я делал хорошо. Способности у меня были небольшие, и они не бросались в глаза; но всетаки я был не совсем лишен ума, и иногда он проявлял себя. Вот это и бесило г. Кроттю. Отвечу ли я верно на его вопрос, попадется ли в моей работе удачное выражение,—тогда же лицо его выдавало острую досаду, и губы дрожали от гнева. Я сгибался под тяжестью незаслуженных наказаний.

Из справедливого чувства мести я попробовал поднять класс против угнетателя. Во время перемен я осыпал его имя насмешками и проклятиями. Я напоминал товарищам о его притеснениях, о его уродстве, о его мохнатых острых ушах. Товарищи не возражали, ни один голос не поднимался в его защиту, но страх перед учителем сковывал языки: они молчали. Дома, за обедом, я иногда пробовал разоблачить г. Кроттю перед матерью. Увы! Не было на свете человека менее подготовленного к тому, чтобы понять такие обличения. Ее благородная душа, воспитанная на «Телемаке», рисовала себе моих учителей чем-то в роде греческих мудрецов, и г. Кроттю представлялся ей с чертами Ментора. Самая большая ловкость вряд ли успела бы

подставить на место сего почтенного образа—звериное и рогатое лицо; а я поступал особенно неудачно, выдавая свое пристрастие, нагромождая преувеличения и неправдоподобности, и без доказательств утверждал, что в широких коричневых панталонах г. Кроттю спрятан лошадиный хвост. А в моем отце ничто не могло поколебать ни уважения, какое ему внушала иерархия, ни его безусловного доверия к людям, менее всего того заслуживавшим. Так же мало удавалось мне разоблачить г. Кроттю перед моей доброй Жюстиной. Она, вообще, была мало склонна верить мне, и, когда я рассказывал ей о несправедливостях учителя, она говорила;

— Если бы вы как следует учили уроки и если бы вы не сердили этого бедного господина, вам не приходилось бы жаловаться на него, а только похваливать.

И она приводила мне в пример своего брата Сэмфориэна; он был хороший мальчик, и школьный учитель назначил его дежурным по классу, а господин кюрэ позволял ему помогать в церковной службе.

— А вот вы, вы выводите из терпения вашего доброго учителя, и вы ответите за это перед богом.

Напрасно приводил я самые разительные факты. Жюстина ничему не хотела верить,—даже тому, что звали его Кроттю: она говорила, что такой фамилии нет.

Как-то раз я пошел со своими обидами к госпоже Ларок. Сидя в ковровом кресле, с ногами на грелке, она слушала меня и вязала синий чулок. К жалобам моим она отнеслась благосклонно. Но бедняжка стала уж очень стара,

путала прошлое и настоящее, слегка заговаривалась и как-то странно смешивала г. Кроттю с одним членом конгрегации, профессором в Гранвилле, который в 1793 г. покарал Флоримона Шапделэна за то, что тот не кричал: «Да здравствует нация!» Моя злоба, не находя выхода, душила меня.

Я не признавал себя побежденным. Конечно, излишне говорить, что г. Кроттю в этой борьбе был более сильным.

Раз весной я проснулся от пения птиц; пробиваясь в щели ставень, стрелы света вонзались в мою кровать: я обожаю свет дня, и мысль о г. Кроттю была мне горше смерти. В это утро милая мама, по своему обыкновению, следила за тем, чтобы у меня шея и уши были вымыты, уроки повторены. Я старался казаться очень спокойным; решение мое было принято.

Позавтракав хлебом с молоком, я, как всегда, в тридцать пять минут восьмого спустился по лестнице, с сумкой под мышкой, при чем не очень набил ее книгами, пошел берегом серебрящейся Сены и затем по улице, которая вела к коллежу. И вдруг свернул направо, в улицу, в которую до того почти не заглядывал, но знал, что она—длинная и должна привести меня к местам неизвестным и очаровательным. Радость моя была велика и так рвалась наружу что я закричал о ней ослику, остановившемуся с телегой с овощами. Напрасно благоразумие вскрывало мне всю серьезность моего проступка и те опасности, которым я подвергнусь, если он станет известен; а это очень легко могло случиться, потому что отсутствовавших на уроках

в коллеже отмечали. Я рассчитывал на какой-нибудь счастливый случай, на тот благой беспорядок, который, правя людскими делами, умеряет суровость правосудия.

И потом, никакая расплата не казалась мне слишком дорогой за такое большое и редкое удовольствие. Наконец-то решился я прогулять уроки. Это освобождало меня от г. Кроттю, правда, всего на один день, но бывают дни, которые ценишь, как вечность, и не без некоторого основания, потому что они заставляют забыть и прошлое, и будущее. Все в этой старой улице, теперь пробуждавшейся на солнце, улыбалось мне и веселило меня. Конечно, окружающие предметы только отражали и возвращали мне радость моего собственного сердца. Могу сказать, не боясь упрека, что незаслуженно хвалю прошлое в ущерб настоящему: Париж в ту пору был ласковее, чем сейчас. Дома были ниже, сады чаще. На каждом шагу деревья склоняли над старыми стенами свои густые верхушки. Дома были разнообразные, у каждого—свой особый вид, соответственно его возрасту и состоянию. Некоторые, когда-то красивые, хранили задумчивую прелесть. В людных кварталах лошади всех мастей везли экипажи, дроги, фургоны, кабриолеты и наполняли шумом мостовые, по которым стаями прыгали воробьи, поклевывая помет. Время от времени, через большие промежутки, с шумом проезжал по горбатой мостовой желтый омнибус, запряженный коренастыми «першеронами» в яблоках. Город еще не раздался до самых укреплений: Париж не был еще «единственным» мировым городом; знаменитый префект только

еще начинал пробивать те широкие проспекты, через которые в изобилии ворвались однообразие, посредственность, уродство и скука. Я склонен думать, имея в виду лишь центральные кварталы, что со времени правления Анны Австрийской и до середины второй Империи, за два века, Париж, хотя и пережил столько революций, меньше изменился, чем за шестьдесят лет, отделяющие нас от того времени, о котором я вспоминаю здесь с таким удовольствием.

Лично я, беседующий сейчас с вами, знал, почти в полной мере, тот Париж, какой описывал в 1660 г. Буало, наблюдая его с чердака Палэ. Как он, слышал я крик петуха, разрывающий в самом центре города тишину утренней зари. Я ощущал в Сэн-Жермэнском предместьи запах стойла, я видел кварталы, сохранившие совершенно деревенский вид и все очарование прошлого. И было бы ошибкой думать, будто двенадцатилетний ребенок не чувствовал прелести своего города. Он вдыхал ее вместе с родным воздухом и наслаждался ею. Было бы преувеличением сказать, что он вполне оценивал прекрасные пропорции особняков, казавших свои классические колонны, свои портики и фронтоны между двором и садом; но он на ходу любовался ими в меру своих сил и своих запросов, а если чего и не понимал, то предчувствовал, что ему предназначено когда-нибудь понять и это. Требуется ли быть совсем взрослым, чтобы грезить о запретном саде, в котором сквозь полуоткрытую калитку видно несколько ветвей и цветов? Требуется ли не быть ребенком, чтобы волновал вид старой

стены? Любовь к прошлому врождена человеку. Былое волнует одинаково как малого ребенка, так и дряхлую старушку. Для доказательства достаточно сослаться на бабушкины сказки, на басни из тех времен, когда животные разговаривали. И если начать доискиваться, почему всякое человеческое воображение, свежее или увядшее, печальное или радостное, обращается непременно к прошлому, влечется в него проникнуть,—конечно, окажется, что прошлое—это та наша единственная прогулка, то единственное место, где мы можем укрыться от будничной докучи, от наших бед, от нас самих. Настоящее пустынно и мятежно, будущее сокрыто. Все богатства, весь блеск, вся прелесть мира—в прошлом. И дети знают это так же хорошо, как старики. Вот почему, без сомнения, с самой ранней моей юности внимал я взволнованно голосам камней моего родного города, рассказывавшим о былых днях. Увы, старые камни уступили место новым; но и эти в свой черед когда-нибудь состарятся и, наверное, будут тогда волновать и трогать мечтательную душу.

По мере того, как я уходил в глубь этой длинной улицы, дома становились все проще и все более походили на деревенские; я видел занятия и нравы, какие были неизвестны в нарядных кварталах, где протекало мое детство. Там я увидел впервые огородников в больших соломенных шляпах, поливавших свои сады, загорелых девушек, доивших коров, продавцов дров, выкладывавших на дровяных дворах поленья в триумфальные арки, и кузнеца, подковывавшего у порога кузницы, в остром запахе паленого

копыта, лошадь, которую его помощник держал, подняв ей ногу. Лицо у кузнеца было страшное, с бородкой клином и с воинственными усами. Отвернутый рукав рубашки открывал вытатуированный на левой руке синий крест с надписью: *Честь и Родина*. Вскоре я вновь встретил его — у соседней стойки виноторговца; он утирал усы рукою и весело, звонко похлопывал по плечу старого извозчика.

Вид этих рабочих за несколько минут дал мне больше полезных сведений, чем я мог набрать за три месяца в коллеже, и может быть именно в этот день запали в меня семена той благотворной любви к ремеслам и к занимающимся ими, какую я сохранил с тех пор на всю жизнь.

Я собирался в этот день, казавшийся мне бесконечным, вполне изведать все радости жизни и все наслаждения леса. На берегу Сены, подле моста, я увидел старуху, сидевшую на складном стуле у столика с нантеррскими пирожками и графином лакричной воды, заткнутым лимоном. Это кушанье и этот напиток составили восхитительный завтрак. Исполненный новых сил, спешил я в Булонский лес погулять. Попал я туда через Отель, который в ту пору был еще деревней, и хорошенькие его домики хранили под колеблющейся тенью листвы славные и милые воспоминания, которыми я тогда еще не мог насладиться.

Эти дома начинали уже падать под ломом разрушителя, и над скрытыми садами поднимались высокие постройки. Булонский лес также преобразился. Испорченный просеками и каскадами, он утратил свою девственность и

свежесть. Уже не чувствовалось в его тени священного ужаса. Глубина леса с самого раннего детства вызывала во мне меланхолическое наслаждение. Однако — истина обязывает меня это сказать, — едва я зашел в чащу, где свет падал через листву золотыми кругами, я поскорее пошел назад, испугавшись бродяг, тревоживших мое уединение. И я замедлил шаг лишь на лужайке, где, неподалеку от Мюэтт, дети играли на траве, а матери, взрослые сестры и разряженные кормилицы сидели в тени каштанов на скамьях, стульях и складных табуреточках. Освободилось место на одной скамейке рядом с ребенком, показавшимся мне юношей, потому что он был приблизительно моих лет, очень красивым, одетым так, как я хотел бы быть одетым, — с небрежным изяществом. Ветер вольно играл концами его голубого с белыми крапинками галстука. Часы были прикреплены к жилетке золотой цепочкой. Короткие волосы вились рыжими или золотистыми локонами, голубые глаза скрились, легкий румянец играл на очаровательном свежем, но бледном лице. В руке у него были карандаш и записная книжка, но он не писал. Я сразу почувствовал к нему симпатию, и хотя был очень застенчив, первый заговорил с ним. Он ответил мне сдержанно, но ласково, и мы разговорились. Он рассказал мне, что он — сирота и болен, что живет в доме на Ранелаге, с бабушкой, родом из старинной ирландской семьи, давно переселившейся во Францию; по мужу, который умер, она связана с самыми знаменитыми фамилиями императорской аристократии.

Ему хотелось бы учиться в гимназии, работать и играть с товарищами, участвовать в играх в городки и в мяч, получать призы на состязаниях. Он учился у маленького аббата, о котором говорил без ненависти и без любви, определенно не одобрял в нем только его шелковую рогатую шляпу непомерной величины, которую тот предпочитал священнической шапочке. В этот день аббат, как всегда, отвел его в лес. Мальчик был удивлен, что против обыкновения его слишком долго оставили одного, но вовсе не был этим недоволен. Он с увлечением говорил мне о победах в Крыму. Из окна на площади Вандом он видел возвращавшиеся с востока войска в поношенной, дырявой походной одежде. Раненые шли впереди полков, женщины бросали им цветы; приветственными кликами встречали знамена и штандарты с орлами. От одного воспоминания у него билось сердце. Он описал мне, точно сам там был, обеды и балы в Тюльери, на которые часто получала приглашения его двоюродная сестра Клэр, вышедшая замуж за шталмейстера императрицы. Спектакли, выставки, празднества чрезвычайно возбуждали его любопытство.

Ему очень хотелось попасть в залу Сэн-Бартельми на фехтовальное состязание между Гризье и Гатшером. Как только он вырастет, он будет усердно посещать Французскую Комедию, Лирический театр и Оперу. Да уж и сейчас он знает от своего дяди Жерара все, что делается в этих трех больших театрах, и читает театральные фельетоны. Он сообщил мне, что госпожа Миолан-Карвальо замеча-

тельно удачно дебютировала в Лирическом театре, и спросил, нравится ли мне Мадлэн Броан.

— Вот она; посмотрите, какая красивая.

И он достал из кармана курточки фотографию, на которой была изображена очень хорошенькая блондинка, облокотившаяся голыми руками на спинку козетки.

Я был в восхищении, что он так хорошо знаком с театральными делами, которые и меня очень интересовали, но о которых я не имел понятия. Чего только ни знал он о светском обществе, об искусстве, о литературе! Он видел Понсара, разговаривал с ним во Французской Академии. Он знал подлинную историю и даже настоящее имя «дамы с камелиями». Он был близко знаком с тем проповедником, который в посту произносил проповеди в Тюльери.

Он задавал мне вопросы, но не ждал ответов на них.

— Что вы думаете о вертящихся столах? Я раз видел, как стал вертеться столик на одной ножке. Вы не хотели бы быть Шэ д'Эстанжем? Я хотел бы. Я хотел бы сделаться знаменитым оратором. Но я был тяжело болен и не мог правильно учиться. Доктора говорят, что мне еще нужно быть очень осторожным. Они отправляют меня на зиму в Ниццу.

Помолчав немного, он раскрыл тетрадку, неумело начертил на чистой странице фигуру, которая должна была представлять равнобедренный треугольник, и показал с улыбкой.

— Видите вы это?

— Да, треугольник.

— Такой же треугольник и моя жизнь.

Медленно, словно нехотя, провел он между равными сторонами несколько параллельных основанию линий, все более укорачивавшихся по мере приближения к вершине. Чертя их, он шептал:

— Пять лет... десять лет... двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать.

— Видите, становится все меньше, и вот чем кончается.

Минутку подумав, он дотронулся кончиком карандаша до вершины треугольника.

— Семнадцать лет! Задыхаешься—и конец.

Он резко захлопнул записную книжку, поднял голову и с силою сказал:

— Но я выздоровлю. Уверен, что выздоровлю. Врачи думали, что затронута грудь. Они ошибались: это сердце. У меня бывают сердцебиения. Затронута сердце.

Опять помолчав, он спросил, хотел ли бы я быть морским офицером.

— Я бы очень хотел,—прибавил он, и где-то далеко блуждал его мечтательный взор.

К нам подошла пожилая женщина в платье с воланом цвета увядшего листа, в пышном кринолине.

— Моя бабушка,—прошептал он.

Она села рядом с ним, сняла перчатки, взяла его руку, потрогала щеки.

— Кирилл, у тебя горячие руки, лоб влажный; ты, наверное, утомился от разговора.

Понизив голос, но не настолько, чтобы я не мог слышать, она прибавила:

— Кирилл, не надо говорить с незнакомым ребенком, особенно когда он без провожатых.

Я уже чувствовал себя другом Кирилла. И потому мне стало больно, что меня сторонятся с таким презрением. Я не мог не обратить внимания, что он замолчал и избегал смотреть в мою сторону. Я встал и ушел, не оборачиваясь. Сердце у меня сжалось.

Я довольно долго бродил, раздумывая о Кирилле и жалея об этой, так быстро завязавшейся и так рано кончившейся, дружбе. И увидал на траве у пустынной дорожки девушку и маленького мальчика. Они были похожи друг на друга, как брат и сестра. Вид у них был городской и в то же время деревенский. У обоих глаза—дырочки со смешными остренькими ресницами, лица в веснушках, рот до ушей, и такое задорное, веселое выражение, что невозможно было смотреть на них без улыбки. На девушке было ситцевое платье в цветах, на мальчике—совсем новая синяя блуза. Они жадно уписывали хлеб с виноградным вареньем и оба пили прямо из большой бутылки.

Так как я смотрел с любопытством на них, мальчик, потирая рукою живот, протянул мне бутылку и закричал:

— Очень вкусно! хотите попробовать?

Я прошел дальше не ответив, не столько из гордости, сколько от смущения; мне не пришло в голову, что я подчеркиваю этим расстояние, отделяющее лесную парочку от маленького буржуа, еще более обидным образом, чем

пожилая дама в кринолине подчеркнула расстояние между ее внуком и гуляющим по лесу незнакомым ребенком.

Между тем, я почувствовал голод и с тревогою заметил, что тени от деревьев вытягиваются все длиннее. Я посмотрел на часы—у меня оставалось всего тридцать пять минут, чтобы добраться к обычному часу до дому.

Когда я вернулся, немного опоздав, весь запыхавшийся, неся с собой запах травы, я застал у нас тетю Шоссон. Она спросила меня, хорошо ли я учусь и что сегодня делал.

Это было как раз кстати. Ибо солгать матери было бы мучительно для моей совести, а обмануть тетю Шоссон—это я считал даже благочестивым делом. И я ответил, что сегодня узнал больше, чем за все шесть месяцев, и не потерял времени даром.

Тетка Шоссон шумно порадовалась моему хорошему виду и основательно заметила, что занятия не вредят здоровью.

Я рассчитывал на то, что, благодаря царствовавшему в нашем коллеже беспорядку, моего отсутствия не заметят. Так и случилось. Среди всех других счастливых результатов этих беззаконных и очаровательных каникул, я должен отметить один, очень странный.

Я не без удовольствия увидел снова г. Кроттю: я перестал его ненавидеть.

IV

Госпожа Ларок.

Я кончал одеваться. Мать сказала мне:

— Госпожа Ларок серьезно больна. Она скоро умрет. Ее дочери просили тебя зайти к ним сегодня утром. Ты найдешь их обеих у ее постели. Поторопись, дитя мое.

Я был очень удивлен. Я уже слышал, что она простудилась, но тогда не обратил на это никакого внимания.

— Ночь была ужасная,—прибавила мать.—В девяносто три года она борется с болезнью с неслыханною силой. Сегодня утром она притихла.

Я побежал. У дверей комнаты точно какая-то невидимая преграда остановила меня. Глубокую тишину нарушал лишь хрип умирающей. Старшая дочь, мать Серафима, в монашеской одежде, с желтым, как у старой восковой фигуры, лицом стояла у постели и мешала серебряной ложечкой в стакане, необычно серьезная и простая, и исполняла незначительное дело с каким-то аскетическим спокойствием, которое вполне подходило к этой торжественной семейной сцене. Младшая, Тереза, с распухшим от бессонницы и слез лицом, с растрепанными белыми волосами, сидела, согнувшись и положив локти на колени и оперши щеки на кулаки, вся как-то затихшая, и тупо глядела на мать. Я не узнавал комнаты, хотя ничто в ней не изменилось, кроме разве того, что ночной столик и мраморная доска над камином были заставлены бутылками, пузырьками, стаканами. Слева высокая спинка кровати загора-

живала от меня умирающую. Над кроватью—чаша со святой водой, поддерживаемая двумя раскрашенными фарфоровыми ангелами, распятие и пастельный портрет Терезы, юной и тоненькой, с большими черными локонами, в коричневом платье с расширяющимися кверху рукавами, отчего талия у нее была «как у сильфиды». В глубине—окно со старыми красными ситцевыми занавесками. Справа—красного дерева комод, на нем—белый с широкими золотыми полосками кофейный прибор, над ним—дагерротип госпожи Ларок и голова Ромула, срисованная карандашом с картины Давида матерью Серафиной, когда она была еще ребенком. И эта комната, такая обыкновенная, теперь была полна величественности.

— Входи же, Пьер,—сказала монахиня.

Я подошел к кровати. Лицо госпожи Ларок не изменилось. Вспученный живот приподнимал одеяло. Землистые руки сжимали простыню. Глаза умирающей были полузакрыты, и она никого не узнавала. Должно быть, ее мучил голод; несколько раз требовала она есть и сердито спрашивала, в гостинице она, что ли, что ее так скверно кормят. Она не переставала хрипеть, но была совершенно спокойна. Прошло с полчаса, как вдруг она заволновалась. Лицо пылало, выбившиеся из-под чепца редкие седые волосы прилипли к мокрым вискам. Она произносила какие-то бессвязные, но отчетливые слова.

— Эй!.. Жаннетта, эй!.. Подождите немного, матушка мне нужно отвести корову в коровник... Темно стало...

Мать моя, я дала им супу с горохом и яичницу... Браконьеры, браконьеры!..

Она видела себя ребенком, в деревне.

— Матушка, уже ночь. Ни зги не видно. Я зажгу глазок.

Так называла она маленькую лампу старинной формы, висевшую у нормандской печи.

— Матушка, я сейчас напеку гречневых блинов для маленького Пьера, он их обожает.

При этих ее словах обе дочери сделали резкое движение. А я испытывал чувство странное и жуткое, слыша как сплетен я с людьми и предметами давно минувшего времени.

Тереза продолжала сидеть, как мертвая, в своем совсем низком кресле. Мать Серафина отвела меня в переднюю и спокойным голосом сказала:

— Она была в полном сознании, когда причащалась. Причащал ее аббат Муанье. Доктор с самого начала не подавал нам никакой надежды, и преклонный возраст матери не позволял обольщать себя ею. В пятницу началась старческая пневмония. Почти тотчас же наступил паралич кишек. Тереза плохо переносит бессонницу и потому очень устала.

И мать Серафина, засунув руки в рукава, незаметно кивнула мне. Ум ее был серьезен и строг, как и ее одежда. Тихая покорность скрашивала ее печаль. В дверь кухни было слышно, как попугай Наварэн говорил:

Хорош табачок

В моей та...

Ну, так что ж? Ну, так что ж?

Когда я вновь пришел вечером, занавески были раздвинуты. На ночном столике уже не было стаканов, пузырьков и бутылок; на нем горели две свечи. В чаше со святой водой лежала веточка буксуса. Госпожа Ларок мирно спала, вся белая, со сложенными на распятии руками.

— Поцелуй ее, Пьер,—сказала монахиня,—она любила тебя, как родное свое дитя. В последние минуты сознания она думала о тебе. Она сказала нам: «Вы дадите Пьеру золотые часы, на память обо мне. И вы велите выгравировать на крышке день»... Она не dokonчила. И с этого мгновения никого уже не узнавала.

V

Господин Дюбуа.

За эту неделю баллы у меня были самые плачевные. Поведение плохое, успехов—никаких. Мать, очень опечаленная этим, взмолилась о помощи к г. Дюбуа.

— Так как вы интересуетесь этим ребенком, побраните его. Вас он лучше послушается. Объясните ему, какой он причиняет себе вред, пренебрегая занятиями.

— Как дать ему понять этот вред, дорогая госпожа Нозьер,—ответил г. Дюбуа,—когда мне и самому он неясен?

И, вытащив из кармана какой-то томик, он прочитал следующие строки:

«Гомер не сидел десять лет в школе, чтобы под кнутом заучивать несколько слов, которые гораздо лучше мог узнать дома в пять-шесть месяцев».

— И знаете, кто это сказал, госпожа Нозьер? Мужик, неуч, враг настоящего ученья? Нет, тонкий умница, человек очень ученый, лучший писатель своего времени,—а это было время Шатобриана,—полный остроумия памфлетист, любитель греческого языка, прелестный переводчик пасторали «Дафнис и Хлоя», человек, лучше которого никто никогда не писал писем, Поль-Луи Курье.

Мать с изумлением и печалью смотрела на г. Дюбуа.

А старик, тихонько дернув меня за ухо, прибавил:

— Дружок мой, еще мало быть глухим к словам этих педантов, врагов природы; нужно уметь слушать природу: она одна объяснит тебе Виргилия и научит законам чисел. Не теряй ни минуты, чтобы наверстать на свободе время, которое ты теряешь в коллеже.

Г. Дюбуа было тогда семьдесят или семьдесят два года, он высоко держал голову, изящно кланялся и обращался со всеми приветливо, но с достоинством. От взбитой прически и коротеньких бачек, по моде времен его юности, его длинное бритое лицо казалось величественнее. Глаза были строгие, улыбка очаровательная. Он всегда носил длинный сюртук цвета бутылочного стекла, нюхал табак из черепаховой табакерки с медальоном и сморкался в большой красный фуляровый платок.

Он сблизился с нашей семьей через свою сестру, которую мой отец лечил и затем подружился с ней. После смерти этой сестры г. Дюбуа не перестал посещать наш дом и сделался своим человеком. Если бы я не слышал,

как г. Дебуа беседует с моим отцом, взглядов которого ни в чем не разделял, если бы я не видел, как он обращается с моей матерью, которая была слишком проста и застенчива, чтобы поощрять светские манеры, я не имел бы понятия, до какого совершенства светский человек может довести хороший тон, вежливость, корректность. По происхождению принадлежа к крупным парижским буржуа, к адвокатам и судейским до-революционного режима, г. Дюбуа по своему воспитанию сделался членом старого французского светского общества. Говорили про него, что он эгоист и мелочно-бережлив. Думаю, что, действительно, самым главным для него было—жить, и так как жизнь он вел самую скромную, то не искал случаев быть расточительным. Это был человек определенных привычек, любивший простоту и во всем простой, находивший в этом удовольствие и ставивший себе это в заслугу. Он жил один со старой экономкой Клориндой, которая была ему очень предана. Но «она выпивала», и тогда бывала неприятна. Может быть, г. Дюбуа у нас и спасался от домашних неудобств.

Г. Дюбуа относился ко мне очень дружелюбно, и это было тем более ценно, что старик не любил молодых людей. Думаю, я заслужил его расположение тем, что внимательно его слушал: он любил рассказывать, и я, хотя был еще ребенком, почти всегда интересовался его рассказами. Когда мне исполнилось лет четырнадцать, я стал его любимцем. Могу сказать без самообольщения, со мною он беседовал куда охотнее, чем с моим отцом. Уже давно

умолк его голос, но все ещё звучит он в моих ушах. Голос у него был не сильный, никогда не повышался. Произношение, как и вообще у его современников, отличалось от теперешнего, было легче и мягче. Г. Дюбуа говорил *мам* вместо *мадам*, *Сэв* вместо *Сэвр*, *Люсьенн* вместо *Лувсьенн*, *сегрет* вместо *секрет*, не произносил двойных букв и некоторых согласных на конце слов.

Я знал мало о его жизни, да и не старался узнать больше. Во мне не было тогда, как есть теперь, любопытства к прошлому человека. Двадцати лет, на исходе царствования Наполеона, он поступил на военную службу, и адъютантом при генерале Д... проделал кампанию 1812 г. Под Смоленском он отморозил уши. Наполеона г. Дюбуа не любил и с одинаковой горечью упрекал его и за то, что он уложил в России пятьсот тысяч человек, и за то, что в походе носил польскую шапку с отворотами, которая, вероятно, очень шла польским магнатам, но Наполеона делала похожим на старую женщину.

— И в самом деле, — прибавлял г. Дюбуа, — любопытный, болтливый, он был настоящей кумушкой. Когда я видал его, он был жирный и желтый. Не надо верить его бюстам и портретам. Его художники, по его приказу, подделывали его лицо под античные образцы. В своих манерах он был вульгарен, с женщинами неприличен, всегда в табаке, ел руками.

Мой крестный, г. Данкэн, обожавший императора, приходил в негодование.

— И я тоже видел его!—кричал он.—В 1815 году, восьми лет, я сидел на плечах у отца. Император везжал в Лион. Голова его была царственной красоты. Таким видел его я, таким видела несметная толпа, окаменевшая от этого великого лица, как от головы Медузы. Никто не мог выдержать его взгляда. Его руки, мавшие мир, как глину, были маленькие, как у женщины, и безупречной формы.

В ту пору Наполеон очень занимал умы. Не сменилось еще двух поколений после дней его славы. Не прошло еще двадцати лет, как колесница привезла его на вечный покой к берегам Сены. Две из его сестер, три брата, его сын, его маршалы, уходя по очереди в могилу, пробуждали эхо его имени. Один из его братьев, несколько генералов, множество его солдат и сподвижников еще были живы. Некоторые простодушные старики, в роде моей няньки Мелани, верили, что и сам он все еще жив.

Все разговоры на тему о нем отличались большой страстностью.

— Это был величайший полководец,—говорил г. Данкэн.

— Согласен,—отвечал г. Дюбуа,—если величие измерять поражениями.

И завязывавшийся спор всегда развивался в тех же выражениях.

Г. Данкэн.—Он был гениален в войне, как и во всем прочем. Его орлиный взор видел все сразу. У него было

исключительное присутствие духа, память, знание людей, ощущение толпы, неповторимая работоспособность. Он проникал в мельчайшие подробности и подчинял их целому. Он переступал в своей деятельности границы, которые до того ставились человеческим силам.

Г. Дюбуа.—Он знал людей, но ненавидел всякое превосходство над собой. Он терпел подле себя только посредственности, желал иметь лишь подручных и приказчиков. И когда, в час испытания, понадобились ему настоящие люди, он не нашел их вокруг себя. Конечно, он был умен; глаз его был зорок, когда его не ослепляло честолюбие. Но ум у него был низменный. Он смотрел на людей и на вещи не как мудрец, но как правитель. Равнодушный к теориям, чуждый всякой философии, он был совершенно равнодушен ко всему, что не служило его планам. Даже в механике, где он был в своей сфере, он отвергал то, от чего не ждал непосредственной пользы, например, пароходы и паровозы. Нигде не найти в нем бескорыстной идеи, чистого размышления. Никогда не понимал он гения какого-нибудь Лавуазье, Биша, Лапласа. Мысль была ему отвратительна.

Г. Данкэн.—Это только означает, что его натуре были противны идеология и пустые идеи. В нем жил гений действия.

Г. Дюбуа.—В нем не было чувства меры. В нем поражающие крайности. Весь он—действие,—и впадает в романтизм. В нем—черты великого человека и черты ребенка.

Посмотрите на набросок, сделанный с него Жиродэ в театре Сэн-Клу: его щеголеватая голова—голова ребенка, если угодно—ребенка Тициановского, но ребенка. В моральном отношении у него чисто-ребяческая способность к самообману, вкус к чрезвычайному, громадному и чудесному, неспособность противиться желаниям, легкомыслие, которое остается и в серьезнейших положениях, и та способность все забывать, какую большинство людей утрачивает вместе с детством; а у него она сохранилась до зрелых лет.

Г. Данкэн.—Он не мог не давать по временам отдыха своему чрезмерно напряженному уму: он вмещал весь мир.

Г. Дюбуа.—Это был игрок, и, как все игроки, он кончил плачевно. Он как-то сказал: «Люди никогда бы не действовали, если бы выжидали всех шансов на успех». В этих словах сказывается игрок. Игрокам нужны сильные ощущения. Чувство неверности необходимо для их страсти. Игра перестала бы доставлять им наслаждение, если бы они играли наверняка. Миру он предпочитал войну потому, что в войне больше риска и больше простора удаче. И когда он проиграл в военной игре, он захотел в той же игре отыграться.

Что же он оставил по себе, этот ваш герой? Что он создал? Он сам осудил себя в Мюнхене, в 1805 или 1809 году, когда, увидав в приготовленной ему комнате портрет Карла XII, сказал с гордым пренебрежением: «Пусть уберут этот портрет! Это—человек без результата». В тот день он продиктовал свой собственный при-

говор для судилища Истории,—он, который, среди всех великих людей оказался человеком без результата.

Г. Данкэн.—Без результата! Он спас Францию от анархии, он упрочил завоевания революции, сплавил в горниле своего гения старое общество в новое и добыл таким образом сплав исключительной крепости, богатства, красоты, выдержавший испытание железом и огнем, выдержавший пожар гражданской войны и иноземные пушки! Он создал новую Францию и дал отечеству то, что драгоценнее золота, что нужнее хлеба,—славу.

И брелоки г. Данкэна позвякивали на его животе, а г. Дюбуа вертел в пальцах табакерку, точно желая подкрепить ее геометрическими формами формы своей мысли. Это составляло группу, достойную быть включенной в *Афинскую школу* Рафаэля.

Мой крестный любил сражения, которые видел только на картинах; г. Дюбуа, участвовавший в переходе через Березину, вынес из него отвращение к войне. Выйдя в 1814 году в отставку, он не вернулся на военную службу при Реставрации, которую любил не больше, чем Империю. Он тосковал по Марку Аврелию.

На распутьи.

В этом году я увидел Фонтанэ за неделю до начала занятий. Он приехал из Этрета, загорелый, с погрубевшим голосом. Он остался маленького роста, и недостаток его восполнял возвышенностью мысли. Рассказав мне об играх, купаньи, катаньи на лодке и опасностях, которым подвергался, он сдвинул брови и заявил строгим голосом:

— Нозьер, мы перешли в старший класс; это—год, когда надо выбирать свое будущее. Тебе предстоит принять важное решение. Подумал ты об этом?

Я ответил, что нет, но что, вероятно, я выберу словесность.

— А ты?—спросил я.

При этом моем вопросе, он собрал тучи на своем лбу и ответил, что дело очень серьезное и что нельзя решать его так легко.

Я был смущен, пристыжен и завидовал его благоразумию.

Чтобы понять слова, которыми мы обменялись с Фонтанэ, нужно знать, что в то время от питомцев французского университета требовалось, чтобы они по окончании классов грамматики, на пороге третьего класса, делали выбор между словесностью и естественными науками; в четырнадцать—пятнадцать лет обязанные «бифурковать», как тогда говорилось, они оказывали предпочтение, на основании собственных соображений или по

указанию родителей, той или другой ветви педагогического древа, довольно равнодушные к необходимости выбирать между красноречием и алгеброй и к невозможности следовать единому хору муз, раз'единенному г. Фортулем.

Какое бы мы ни приняли решение, нашему уму был от того большой вред; естественные науки, оторванные от литературы, делаются механическими и грубыми, а литература, оторванная от наук, становится пустой, потому что наука—основа литературы. Такого рода соображения, должен признаться, не посещали тогда моего слабого мозга.

Удивительно, что родители в разговоре со мной никогда не касались этой темы. Если нужно доискиваться причин, я вижу их несколько: робость отца, никогда не осмеливавшегося выдвигать свои мысли, и взволнованность матери, не позволявшая ее мыслям точно оформиться. Но главной причиной их молчания было то, что мать была уверена: какую бы я ни выбрал дорогу, мой талант, иногда затемняющийся, но всегда пламенный, непременно проявит свой блеск, отец же, напротив, полагал, что выберу ли я литературу или науки, все равно ничего стоящего не сделаю. У отца, кроме того, была еще особая причина—нежелание высказываться предо мною об этом мероприятии, проведенном после переворота декретом г. Ипполита Фортюля, ректора университета в 1852 г., касавшимся самых жгучих вопросов политики. Ревностный католик, отец одобрял эту реформу, которая как будто покровительствовала церкви за счет университета; но оппози-

ционно настроенный против Империи, он с недоверием относился к дарам врага и не знал, какого, в конце концов держаться мнения. Его молчание отнимало у меня возможность составить свое собственное мнение по тому способу, каким я обычно пользовался, то-есть принять мнение, противоположное мнению отца. Но я склонялся в пользу словесности, потому что она казалась мне легкой, изящной, близкой, и если я делал вид, что разрешаю очень трудный вопрос, то лишь затем, чтобы придать себе важности и не казаться менее серьезным, чем Фонтанэ.

Я проспал ночь весьма спокойно. На следующий день утром, видя, что Жюстина метет столовую, я принял мрачный вид и сказал ей с важностью:

— Жюстина, в этот год я перехожу в старший класс. Это год «распутья». Я должен принять важное решение,— от него зависит вся моя судьба. Ты подумай только, Жюстина: бифуркация!

При этих словах дочь троглодитов оперлась на свою щетку, как Минерва на копье, задумалась и, бросив на меня взгляд, полный ужаса, воскликнула:

— Господи, да неужто это правда?

В первый раз слышала она это непонятное ей слово— «бифуркация». И все-таки не спросила, что же оно значит, потому что сама вложила в него какой-то смысл, и смысл этот был, наверное, весьма зловещим. Догадываюсь, что она поняла «бифуркацию», как один из тех скорпионов, что насылает правительство, в роде конскрипций или контрибуций. И хотя обычно она не отличалась чувствитель-

ностью, она жалела меня за то, что это на меня обрушилось.

Утреннее солнце играло в голубых глазах и на розовых щеках дочери троглодитов; она засучила рукава, и ее белые руки с алыми царапинами в первый раз показались мне красивыми. Вспоминая свое поэтическое чтение, я обращал ее в жрицу Аполлона, сверкающую юностью и величием, а себя преображал в молодого пастуха из Орхомена, пришедшего в Дельфы спросить бога, какой путь знания выбрать. Столовая врача мало походила на храм Пифии; но изразцовая печь с бюстом Юпитера Трофония легко могла сойти за чтимый алтарь, и мое воображение, в ту пору заменявшее мне все, окружило его пейзажем Пуссэна.

— Бифуркация,—сказал я важно:—нужно выбрать между словесностью и науками.

Жрица Аполлона трижды покачала головой и сказала:

— Мой брат Сэмфориэн силен в науках, он получил награду за счет и за катехизис.

Потом принялась опять мести.

— Мне нужно работать.

Я настаивал, чтобы она сказала, выбрать ли мне науки?

— Конечно, нет,—ответила она со своей сердечной искренностью,—вы недостаточно умны для этого.

И, чтобы утешить меня, прибавила:

— Ум не всем дан. Это—дар Божий.

Я не считал совершенно уж невероятным, что я так глуп, как полагала дочь троглодитов, но уверен в себе не был и колебался на этот счет, как и на счет всего дру-

гого. Я вовсе не думал о том, чтобы развить и укрепить мой ум. В этом вопросе о бифуркации я искал лишь отдыха и удовольствия и, как уже сказал, отдавал предпочтение словесности, как более легкой и заманчивой. Вид геометрической фигуры не только не возбуждал моего любопытства, но сковывал тоскою и оскорблял мою ребяческую чувствительность. Круг—еще куда ни шло, но угол, но конус! Вращаться в этом печальном, сухом, угловатом, топорщащемся мире, когда в классах словесности есть, по крайней мере, образы и краски, когда там порою угадываешь нимф, фавнов, пастухов, видишь дорогие поэтам деревья и падающую вечером тень от гор,—да как же найти в себе такую жестокую храбрость?

Сейчас я униженно складываю к вашим ногам это глупое презрение к геометрии, о, старики Фалес, Пифагор, сказочный царь чисел, Гиппарх, первый попытавшийся измерить миры, Виэт, Галилей, слишком мудрый, чтобы любить страдания и все-таки пострадавший за истину, Ферма, Гюйгенс, странный Лейбниц, Эйлер, Монж, и вы, Анри Пуанкаре, чье немое, тяжелое лицо гения я созерцал; о, вы, самые великие из людей, герои, полубоги, к вашим алтарям несу я мои слабые похвалы Венере Урании, осыпавшей вас драгоценнейшими своими дарами.

Но в те далекие часы, я, бедный маленький дурачок, спешил безрассудно, ни в чем не разбираясь, воскликнуть: «Выбираю словесность!»

Думаю даже, что я посылал проклятия геометрии и алгебре, когда предстал предо мною крестный Данкэн, розо-

вый, цветущий. Он пришел за мною, чтобы привлечь к участию в одном из его излюбленных развлечений.

— Пьерро, — сказал он, — ты наверное очень соскучился за эти шесть недель каникул; пойдем со мною послушать доклад господина Вернье об управлении воздушными шарами.

Еще юношей г. Жозеф Вернье обратил на себя внимание несколькими очень смелыми полетами. Его преданность этому делу и его неустрашимость воспламенили сердце моего крестного, страстно интересовавшегося успехами аэростатики.

По дороге, на империале омнибуса, крестный с увлечением рисовал мне судьбы воздухоплавания. Он не сомневался, что проблема управляемого воздушного шара будет скоро разрешена, и предсказывал мне, что я еще доживу до того дня, когда несчетное число пассажиров будет передвигаться по воздуху.

— Тогда, — говорил он мне, — не будет больше границ. Все народы сольются в один единый народ. Мир будет царить на земле.

Г. Жозеф Вернье делал свой доклад в одной из зал обширной фабрики Гренелль. Попадали туда через сарай, где помещался воздушный шар, на котором юный аэронавт совершил устрашающий подъем. Шар лежал сплюснутый, напоминая безжизненное тело сказочного чудовища; бросалась в глаза громадная рана — место разрыва его. Подле шара лежал винт, который, как говорили, дал на несколько мгновений аэростату направление. Войдя в смежную залу,

мы увидели несколько рядов стульев, уже занятых публикою; мелькали яркими пятнами дамские шляпки, стоял гул голосов. В конце залы возвышалась эстрада со столом и пустыми креслами, обращенными к рядам стульев. Я жадно во все всматривался. Минут через десять молодой аэронавт под гром рукоплесканий поднялся по трем ступенькам на эстраду в сопровождении блестящей свиты знаменитостей. Лицо его было безбородое, худое, бледное, важное, как у Бонапарта, с подчеркнутой неподвижностью исторической маски. По обе его стороны сели два старика, члены Института, оба—сверхъестественно некрасивые, похожие на те фигуры с песьими головами, которые древние египтяне помещали ритуально по правую и левую сторону умершего во время суда над ним. Позади оратора разместились несколько почтенных лиц, среди которых выделялась одна женщина, очень красивая, высокая, в зеленом платье, похожая на аллегория христианского искусства на фреске Поля Делароша в ротонде Академии Искусств. Сердце у меня стучало. Жозеф Вернье говорил глухим, монотонным голосом, вполне гармонизировавшим с неподвижностью его лица. Он с первых же слов высказал свой основной взгляд.

— Чтобы плавать в воздухе, нужна паровая машина, приводящая в движение винтовой двигатель, построенный на математических расчетах, подобных тем, на которых построены затворы в турбине и вентили корабельного винта.

Затем он очень долго и обстоятельно стал говорить о форме воздушного шара; она должна быть возможно более вытянутой в направлении движения шара.

Одна из песьих голов одобрительно кивала и давала сигнал к рукоплесканиям, другая пребывала бесстрастной.

Затем оратор рассказал о своих опасных под'емах и описал один спуск, во время которого якорь сломался, и шар, развив чрезвычайную быстроту, несясь по земле, ломал деревья, заборы, все преграды на пути и волочил среди обломков лодку с экипажем. Все мы вздрогнули, когда он очень просто сообщил, что в другой раз перестал действовать клапан, шар поднялся на высоту, где уже нельзя дышать, и так раздулся, что вот-вот должен был лопнуть. Вернье разрезал оболочку; но разрез раздался до самой верхушки, шар стал опускаться со страшною быстротою, и аэронавты непременно разбились бы вдребезги, если бы лодка не упала в пруд. В заключение, Вернье заявил, что открывает подписку на сооружение нужных для воздухоплавания аппаратов.

Ему много аплодировали. Обе песьи головы жали ему руку. Дама в зеленом поднесла букет цветов. У меня сердце стучало, в глазах стояли слезы, и внутренний голос кричал во мне:

— Я тоже буду воздухоплавателем!

Ночью я не мог заснуть, волнуемый подвигами Жозефа Вернье и уже полный преждевременной гордостью теми воздушными полетами, которым предназначал себя. Мне казалось, что для того, чтобы строить воздушные шары, управлять ими, направлять их, необходимо приобрести большие технические познания. Я решил выбрать науки.

На следующее утро я сообщил Жюстине о своем решении и о тех основаниях, которые меня к нему привели. Она мне сказала, что ее брат Сэмфоризн делал шары из бумаги и пускал их на воздух, подержав над жаровней. Но это была только игрушка. Жюстина не могла одобрить того, чтобы живыми поднимались на небо, и осуждала путешествия на луну, потому что там находится Каин. Раз лунною ночью ей показали его, с пучком терновника на спине.

Три дня я был тверд в своем решении. Но на четвертый марты Виргилия и тайные тропинки в лесу теней стали вновь искушать меня. Я отказался от славы покровителя воздушной сферы и лениво пошел по той из двух троп, которая вела в класс г. Лерона. Это придало мне какую-то гордость, и я с пренебрежением относился к товарищам, выбравшим другую тропу. Таково всегда было последствие бифуркации. Ученики словесного отделения и ученики отделения научного взаимно презирали друг друга. Это было неизбежно, этого хотел столь распространенный корпоративный дух, заменяющий ум тем, у кого его нет. Как словесник, я усвоил предрассудки своего класса и охотно подсмеивался над тяжеловесным и убогим умом «научников». Может быть, и не хватало им изящества и гуманитарности. Но какие глупые фигуры представляли из себя мы, словесники!

Не могу по собственному опыту судить о действии бифуркации: по самой своей природе я не способен из-

влекать пользу из уроков, даваемых в массе. В классы науки, как и в классы словесности, я внес бы ум замкнутый и дух протестующий. Тому немногому, чему я научился, я научился один.

Думаю, что бифуркация очень ускорила упадок классического образования, переставшего отвечать потребностям буржуазного общества, которое всецело устремилось к технике и финансам. Говорили, что министр народного просвещения в 1852 г. направил все свои усилия на то, чтобы извратить университетское преподавание, потому что в высших сферах в нем видели государственную опасность. Он отсекал самые благородные части этого преподавания и имел смелость заявлять: «Исторические и философские споры мало пригодны для детей; эти несвоевременные искания не рожают ничего, кроме тщеславия и сомнений». Конечно, так не может говорить воспитатель, стремящийся пробудить юные умы. Фортуль хвастался тем, что создавал смирное поколение; он ставил себе задачу дать сыновьям буржуа, выросшим в режиме либеральной королевской власти, образование, подходящее для той деловой жизни, к которой они были предназначены. В эту эпоху один университетский профессор буржуазного направления мыслей, оставшийся верным июльской монархии, исчерпывающим образом выразил свои взгляды в следующих строках: «Нашим сыновьям не предстоит быть учеными. Не хотим мы делать из них и поэтов, литераторов; поэзия и литература—занятия слишком неверные; мы не хотим, чтобы они были адвокатами,—и без того их до-

вольно; мы хотим, чтобы наши сыновья были хорошими коммерсантами, хорошими агрономами. А для этих занятий, образующих основу общества, на что нужны греческий и латинский языки, которым вы обучаете и которые быстро забываются? Не может весь мир писать, выступать в суде, преподавать. Значительное большинство—вне круга ученых профессий. Что дают ваши коллеги этому большинству? Просто ничего, или ничего хорошего».

В каждом сколько-нибудь возвышенном сердце эти пошлые и грубые слова не могут не вызвать отвращения. Я напоминаю о них потому, что до сих пор еще держится внушившее их направление мысли. Среднее образование за пол-века только еще больше упало. Оно обречено. Непристойно, чтобы в нашем обществе ребенок из народа ограничивался начальной школой, а детям богатых классов была предоставлена гимназия, где они, впрочем, ничему не научаются. После этой чудовищной войны, за пять лет потрясшей до основания все учреждения, необходимо перестроить здание народного образования по новому плану величественной простоты. Равное образование для детей богатых и бедных. Все пройдут через начальную школу. Те, которые проявят наибольшие способности к учению, получают доступ к среднему образованию, и оно, предоставляемое бесплатно, объединит на тех же скамьях цвет буржуазного юношества и цвет юношества пролетарского. А этот цвет лучшие свои элементы вольет в высшие школы наук и искусств. Таким путем демократия будет управляться лучшими людьми.

Чтобы вернуться к сказочным годам моего детства, скажу, что инстинкт, влекший меня к словесным наукам не совсем меня обманывал. В этих убогих залах предстали мне Греция и Рим,—Греция, научившая человечество знанию и красоте, Рим, умиротворивший мир.

VII

Мурон—канареечное семя.

В ту пору ежегодно, 28-го января, в день праздника Карла Великого, устраивался банкет учеников, по какому-нибудь предмету бывших первыми. Я был уже в третьем классе, и у меня мало было надежды занять место на этом банкете избранных. Я не только не стоял во главе своего класса, я был счастлив и тем, что занимаю незаметную середину. Не потому, чтобы я был ленив: напротив, я работал не меньше других, иногда даже больше. Но чем больше я работал, тем больше удалялся от первых рядов. Причина в том, что я увлекался занятиями, совершенно посторонними классному преподаванию, и увлекался так, что это поглощало все мои силы. Жадное любопытство приковывало меня целиком то к тому, то к другому предмету. Так, в этом году, в первые три недели после начала занятий, я был пленен царицей Нитокрис. Я думал только о ней, видел только ее, ею одною дышал. Предметы программ, сочинения, переводы, пересказы, Эзоповы басни, пунические войны—все это совсем не интересовало меня. Я

был чужд всему, что не имело отношения к царице Нитокрис. Никогда еще любовь не была более исключительной. Как раз к тому времени, как это чувство стало убывать (ибо ничто в мире не вечно), моя мать дала мне веточку омелы и сказала, что это—священное растение друидов. И я в течение нескольких недель не видел ничего, кроме дремучих лесов, белых жриц, золотых серпов и корзин с омелой. Потом мною завладели пчелы Аристея, далее—золотые яблоки из сада Гесперид. И так как мысль моя была занята только этим, я казался совсем глупым. Само собою понятно, что в таком состоянии я не мог внушать большого уважения к себе моему профессору г. Боссье, человеку справедливому, с характером серьезным и даже немного угрюмым, с умом прямым и не широким, насколько я могу судить по своим воспоминаниям о нем. Ко мне он относился сурово, без жалости, потому что по совести считал меня умом слабым и извращенным. Ну, а я, вопреки своему созерцательному настроению, имел одну склонность, которую позднее совсем утратил: я любил славу. Да, несмотря на неправильности моего ума, заслужившие мне презрение г. Боссье и навсегда отрезавшие меня от цвета класса, я очень хотел блистать на школьной скамье и пожинать, как античный герой, лавры. Да, я любил славу. Университетское образование, которое как-никак проникало в меня, заставляло меня относиться с одинаковым восхищением к победителям при Саламине и к героям Пальмареса. Я любил славу. Наполеоновская дисциплина, которой я был подчинен, заставляла меня вздыхать о

венке из зеленой бумаги, так же, как она позднее внушала бы мне, не сбейся я с толку, тоску по крестам, орденским ленточкам и расшитым мундирам. Я любил славу, я завидовал знаменитостям.

Особенно трое учеников—важные, серьезные, внушительные, может быть немножко тяжеловесные, но солидные, неуклонные, пожинали все лавры и занимали первые места в классе,—Радель, Лаперльер и Мориссэ. Все трое были пансионерами в школе, и интернат наложил на их нравы почти военный отпечаток. Приходящих, в роде меня, которые были как бы внешним элементом, они презирали, как военные—штатских. В них был тот корпоративный дух, который во мне отсутствовал совершенно и которого, к своему несчастью, я и потом никогда не мог усвоить. За переменами они первенствовали так же, как и в классе, и были такими же мастерами по части чехарды и гимнастических игр, как по части греческого сочинения или латинской речи. Такое скопление талантов больше поражало меня, чем восхищало, и я чувствовал к ним лишь удивление, не симпатию.

Каждую неделю, в субботу вечером, г. Боссье, оценивая сочинения, переводы, латинские речи и изложения, признавался, что, как ни внимательно разбирал он тетрадки этих трех прекрасных учеников, его весьма затрудняло, кому отдать первенство. По его мнению, Радель, Лаперльер и Мориссэ были совершенно равны между собою, пожалуй только Радель был чуточку точнее, Лаперльер—изящнее, а Мориссэ—мастер сжатости. Сжатость, по мнению г. Боссье,

была, может быть, главным достоинством работ Мориссэ. Чуждый всему, что говорилось и делалось в классе, пренебрегая самыми полезными указаниями, не зная необходимых правил, я писал сочинения и изложения, очень далекие от такой точности, такого изящества и такой сжатости. Все, что выходило из-под моего пера, кишело солесцизмами и варваризмами, противоречиями и бессмыслицами. Моя работа сразу вызывала на лице г. Боссье выражение сдержанной печали и мрачного укора. Тонкие, кривые губы учителя складывались в скорбную складку, и он горько укорял меня за ошибки, которыми были испещрены мои работы, и за плохой вкус, который окончательно уродовал их в его глазах. Этот дурной вкус приводил г. Боссье в отчаяние, и его недовольство тем более меня удручало, что я не видел средства от него избавиться и улучшить свой вкус. И сейчас, по прошествии стольких лет, я все еще не знаю, почему г. Боссье находил мой вкус таким уж плохим. Но антипатия его к моему вкусу была очень острая, если судить по той зловещей усмешке, с какой он перелистывал мою тетрадку. Его презрение причиняло мне большие страдания. Я понимал, что нужно навсегда отказаться от славы и быть счастливым хоть тем, что я могу удержаться в серенькой посредственности.

Несколько успокаивало меня одно обстоятельство. Я никогда не опускался до трех последних мест в классе. Это было невозможно, так как эти места были прочно обеспечены за Морло, Лаборьеттом и Шазалем. Какой бы ни был задан урок, на какую бы тему ни было сочинение—

научное или литературное, на живых или мертвых языках,— Морло, Лаборьетт и Шазаль всегда оказывались последними. Это повторялось еженедельно, с неизменностью законов, управляющих движением планет и сменой времен года. Менялось лишь предпоследнее место: то это был Лаборьетт, то Морло. Последним же всегда и бесповоротно был Шазаль, и можно было удивляться той непоколебимой стойкости, с которою он держался на этом последнем месте. Г. Боссье не делал никаких возражений против столь неизменной и неизбежной точности. Он преклонялся перед необходимостью, властительницей людей и богов, и заканчивая чтение списка учеников именами Морло, Лаборьетта и Шазалья, не прибавляя бесполезных комментариев. Таким образом, в случае поражения, Морло, Лаборьетт и Шазаль прикрывали, так сказать, мой тыл. Это была не лишняя защита, и с каждым днем она становилась все более необходимой. Я опускался все ниже, какое-то тайное и злое влечение толкало меня в самый задний ряд. Как мог я не видеть этого, когда г. Боссье отмечал это со злорадством души прямолинейной, рукоплещущей суровым проявлениям справедливости; когда моя мать, уязвленная в самой большой своей гордости, жаловалась на это за обедом, становившимся для меня от ее укоров таким горьким; когда отец хранил укоризненное молчание; когда даже сама добрая Жюстина, теряя всякое уважение к своему маленькому хозяину, ставила ему в пример своего Сэмфориэна, который, хоть и вот такая крошка, получал все только награды? Это все нараставшее мое понижение

удручало меня; но напрасно искал я причины и меньше всего был я склонен видеть ее в том, что я не обращаю никакого внимания на то, что говорилось и делалось в классе. И я опускался все ниже и ниже. В одну декабрьскую субботу я за греческое сочинение (о музы бессмертные, о сестры чистые, о Мнемозина,—вычеркните из памяти сие мучительное воспоминание!) оказался помещенным непосредственно перед Морло, Лаборьеттом и Шазалем, между Морло, выше которого я был лишь в силу природы вещей, и Муромом, которого я терпеть не мог и который меня опередил каким-то роковым, мне не постижимым образом. Я глубоко презирал этого Мулона, Жака Мулона, маленького Мулона, которого мы прозвали, не без остроумия, канареечным семенем. Я считал его дурачком. Последующий рассказ покажет, был ли я прав. Я считал его еще более ограниченным, чем Морло, Лаборьетта и Шазалья. Шазаль был дитя природы и порою удивлял радостной наивностью своих ответов; Лаборьетт, странно-неуклюжий, угрюмый, рывкающий, был похож на сумасшедшего; у Морло, который вечно дремал, были длинные шелковистые ресницы, и он был похож на зачарованного принца из арабской сказки. В каждом из них было что-то интересное. Мурон же казался мне совершенно неинтересным, и мои товарищи, кажется, думали совершенно так же. Маленький, худенький, хилый, вечно прихварывающий, он часто пропускал уроки, и многочисленные его болезни прорыли глубокие ямы в его классических познаниях. Ум у него был медленный, память

дырявая, и его наивность обнаруживала полностью все изъяны его ума. Наконец, мы считали его противным потому, что он был слаб, глуп, потому что он был застенчивый, презренный, потому что он был безобиден. И все-таки было в Муроне что-то сокровенное, таинственное, что-то глубокое, что должно было бы заставить нас призадуматься, повлиять на наше суждение о нем. Но глупость стремительна, и вошло в обычай насмехаться над Муромом и мучить его. Я также посмеивался над Муромом, потому что в ту пору я слепо чтит обычай. Если бы я остался верен этому принципу, я был бы очень противен себе самому, но я преуспел бы в жизни. Я презирал Мурона, я старался унижить его, и я был бы в этом виновнее всех и всех глупее, если бы действительно не существовала между Муромом и мною какая-то антипатия, выделявшая его из числа других товарищей и учителей. Я был, по крайней мере, искренен. Я искренно считал Мурона существом низшим, чем я сам, безусловно и позорно низшим, и я выказывал ему столько презрения, относился к нему с такой иронией, на какую только был способен при своей природной мягкости и вечном легкомыслии.

Г. Боссье был человек справедливый,—громко об этом заявляю; громче меня кричат об этом его поступки. Пусть его Фемида была слепа и беспощадна, но чаши своих весов она держала в равновесии. То странное обстоятельство, о котором я сейчас расскажу, доказывает, что г. Боссье судил без злобы и без пристрастия и что порою его приговор стоил ему большого страдания. Дело

было так: в одну субботу, странную субботу, г. Боссье объявил, что лучший перевод с латинского сделан мной. Он объявил об этом тоном угрюмым, с прискорбием, глубоко удрученный. Он дал понять, что это досадно, достойно сожаления, безнравственно. Но, как-никак, объявил об этом, заявил это во всеуслышание и отвел мне то место в списке учеников, на котором ему так прискорбно было видеть меня. Перевод, повидимому, был трудный. Лучшие ученики в нескольких местах напутали. Они долго думали и ничего не придумали. Мне помогло мое легкомыслие.

Я, по обыкновению, ни о чем не думал, и, не замечая трудностей, преодолел их. Так, по крайней мере, пробовал г. Боссье объяснить этот необъяснимый факт. Как бы то ни было, я оказался первым, я победил Раделя, Лаперльера и Мориссэ.

Я оказался первым. Я любил славу, но я не был создан для нее. Мне она была не по силам. Первый ее луч, столь неожиданно коснувшийся меня, вскружил мне голову. Я сделался самоуверенным: в чудовищном ослеплении я нашел вполне естественным, что я—первый в классе, хотя это было наперекор всем правилам и всем ожиданиям. Вдруг одна мысль залила меня радостью и переполнила гордостью. Я подумал, что буду приглашен на банкет в день Карла Великого и буду восседать там среди лучших учеников всех классов, от моего третьего и до класса риторики и высшей математики. Какое торжество! Какое очарование! Банкет Карла Великого—это был не только блеск, это было и великое наслаждение. Мне рассказывал

о нем один бывший ученик; там угощали кремом и мороженым, там пили шампанское из хрустальных бокалов.

Я старался показать свое превосходство; это выходило очень смешно и ставило меня в нравственном отношении много ниже Морло, Лаборьетта и Шазаля. И когда Мурон, маленький Мурон, бросив рисовать у себя в тетрадке розочки, повернулся ко мне и улыбнулся своими бледными губами, открывая желтые зубы, в одно и то же время и насмешливо и ласково,—я сделал вид, что не замечаю такого ничтожества. И прошептал на ухо соседу Нуффлару:

— Что за ничтожество—этот Мурон!

После звонка я, выходя из класса, старался подражать важной походке и напыщенным манерам своих соперников, на минуту мною побежденных, но попрежнему надменных и опасных, Раделя, Лаперльера и Мориссэ.

Увы! Больше мне уже не суждено было знать победы. На следующей неделе г. Боссье с явным удовлетворением заявил о моем понижении. Неправильности в моем сочинении, синтаксические ошибки и варваризмы, которыми было оно отмечено, сразу отодвигали меня в последнюю треть списка, по соседству с Морло, Лаборьеттом и Шазалем. Эти трое обладали божественными атрибутами—постоянством и стойкостью. К моему несчастью, первое место, один единственный раз мною занятое, только придало моей посредственности характер падения. Но все же оно обеспечивало мне место на банкете Карла Великого.

Мое представление об этом банкете делалось все грандиознее. Я не говорю, что я рисовал его себе чем-то

в роде пиршества богов, изображенного Рафаэлем на плафоне в Фарнезине, по ряду оснований, которые бесполезно излагать. Но, во всяком случае, я облакал его в своем представлении всею пышностью и всем великолепием, какое только могло создать мое юное, еще неокрепшее, но уже богатое воображение. Оно стало самою частою темою моих размышлений. Оно было бы и темою всех моих разговоров, но я не осмеливался говорить об этом ни с отцом, боясь его холодного ума, ни с матерью, которая наверное сказала бы мне, что я не заслуживаю этого почетного стола, потому что быть первым один раз — только случайность. И я толковал об этом на кухне с Жюстиной и как-то раз даже не постеснялся сказать ей, когда она с шумом жарила картофель, что там подают павлинов с распущенными хвостами, оленя с рогами и поросят с шелковой шкуркой. Я не выдумал всего этого, — я вычитал всю эту кулинарную роскошь в книге старинных сказок и убеждал себя, что эта роскошь будет повторена, только еще в увеличенном размере, на банкете 28-го января. Жюстина не слушала меня и с таким страшным шумом мешала угли, что отец вздрагивал в своем кресле на другом конце квартиры.

А тем временем Мурон, маленький Мурон, тихий и скромный, всегда застенчивый, всегда немного туго думающий, с каждою неделей продвигался вперед; в один прекрасный день он даже занял место между Лаперльером и Мориссэ, к большому удивлению учеников и самого г. Боссье. Этот успех был предвестником успеха еще более крупного.

На второй неделе января Мурон оказался первым по греческому. Он превзошел в умении обращаться с *iota subscripta* Лаперльера и Раделя и знал глаголы на *ті* лучше самого Мориссэ. Весь класс встретил эту победу Мулона веселым подражанием чириканью канареек, так как его звали «канареечным семенем», и эти птичьи голоса во славу героя глаголов на *ті* заставили улыбнуться даже самого г. Боссье; скривив губы, он стал на минуту похож на старого фавна. Кажется, даже воробы на покрытых снегом деревьях присоединили свое чириканье к этому пенью. А я,—должен к стыду своему признаться,—при мысли, что Мурон будет приглашен на банкет, я испытал очень неприятное чувство. Слава, разделенная с Муроном, перестала мне нравиться, не прельщали честь и радость сидеть за одним столом с ним. Признаюсь в этом чувстве и, подобно Жан Жаку Руссо, спрашиваю: есть ли читатель, который почел бы себя лучше меня. В этот день, в который я обнаружил душу столь мелкую и суетную, я пережил и большое унижение. Г. Боссье заявил, что по части аориста я проявил самое грубое невежество и что у меня в работе много таких ошибок, которые могли бы сделать разве только Морло, Лаборетт и Шазаль.

Очень унылый, пришел я домой и побежал на кухню к Жюстине, чистившей грозным ножом морковь. Ее голые руки были испещрены царапинами, порезами, ссадинами и всякого рода рубцами. Щеки были красны, как уголь в печке. Я объявил ей, что банкет Карла Великого—лишь

собрание лентяев, простофиль и вообще ничтожеств, и что не подают там ни павлинов, ни оленей, ни кабанов, а только треску и бобы. Я взялся доказать ей, что Мурон-«канареечное семя» глуп, как горшок. Пока я говорил, она подняла крышку с кастрюльки; горячий пар ослепил ее, она схватила горсть соли, при этом опрокинула себе на голову бутылку с маслом, задела стол, уронила лампу и во весь рост растянулась на звонком полу из плит. Такого рода несчастья случались с нею слишком часто, чтобы она обратила на все это особенно много внимания. Но трудно было вести последовательную беседу со существом, столь подверженным таким инцидентам.

День 28-го января был сырой и темный. Банкет происходил в столовой коллежа; я там раньше никогда не бывал, а когда проходил около дверей, меня слегка тошнило от жирного и приторного запаха. Жюстина говорила, что у меня деликатное сердце. Большая зала, уставленная длинными черными мраморными столами, была убрана бумажными гирляндами, какими украшают казармы и ризницы. Скатертей не было, на тарелках лежали салфетки, сложенные птичками, и эти белые призраки очаровали меня, как будто голуби Афродиты уже носились в моих сновидениях. Меня посадили между Лаперльером, на лево от меня, и Муромом, занимавшим направо край стола, у астрады, где сиял г. директор, аббат Делалоб, почтенный, улыбающийся, окруженный черным венком из профессоров. Я презирав Мурона, Лаперльер презирав меня. Мы трое не обменялись ни единым словом. Лаперльер мог разговаривать

с Раделем, своим соседом слева, а мы, Мурон и я, были обречены на молчание. Не подавали ни павлинов, ни оленя, ни кабана. После долгого ожидания появилась редиска и ломтики колбасы. Я разглядывал венки из профессоров. Г. Боссье был его украшением. Я узнавал его кривые губы, его толстые усы с проседью, свежесбранный подбородок. Вид у него был не такой уверенный, как в классе. Он повязал под подбородок салфетку и подносил ко рту еду. Это меня поразило. Я никогда раньше не думал, что и он ест. А между тем, легко было представить себе это. Но мы, встречаясь с людьми, не думаем о всех их жизненных отправлениях, и такая способность отвлекаться весьма существенна для достоинства человека. Блюда медленно следовали одно за другим. В зале стоял шум от голосов. Я слышал, как мой сосед слева, Лаперльер, объяснял Раделю устройство револьверов и карабинов, которые ему подарили на Рождество, потому что эти герои школьной науки были героичны и в своих играх. Хуже разбирал я слова Раделя, говорившего о верховой езде и даже о псовой охоте. Мне, сыну маленького районного врача, было совершенно невозможно принять участие в такого рода разговорах, да я, впрочем, был и прямо устранен от них. Напротив, Мурон время от времени застенчиво пробовал заговорить со мною, но я отвечал на эти попытки подчеркнутым пренебрежением, я был с ним так же надменен, как Радель и Лаперльер—со мной. Украдкой взглядывая на это бедное личико, кроткое и нежное, я подвигивал в себе решение не иметь никакого общения с существом низшим. И все-таки

что-то такое, сам не знаю что, таинственное и глубокое, шевелилось во мне и предупреждало, что чувства эти скоро угаснут и на их месте загорятся совсем другие. Я боролся против этих тайных предупреждений, которые человек древности принял бы за предостережение богов. После жаркого, когда мы, как говорит Гомер, утолили неутолимый голод, шум голосов и смех сделались оглушительными. Я подглядел краешком глаза, как Мурон, обернув салфетку вокруг сжатого кулака правой руки, придал ему некоторое подобие лица, просунув кончик большого пальца между указательным и средним, и смотрел на эту живую куклу с утрированной, но настоящею грустью. И я слышал, как он говорил:

— Как ты себя чувствуешь, бедняжка Мурон? Не с кем тебе поговорить. Грустно это, но утешься. Мы будем беседовать с тобой, и это нас развлечет. Я расскажу тебе необыкновенную историю, случившуюся с Пьером Нозьером. Ученик Пьер Нозьер пришел на банкет в день Карла Великого без своей души, потому что, приди он с душой, он бы непременно стал разговаривать. Но он ничего не говорит, потому что в его теле нет души. Где же она? В какой стране? На земле или на луне? Не знаю. И пока она блуждает, Бог весть где, тебе, бедняжка Мурон, так скучно за столом, рядом с телом без души, с восковой куклой, которая не говорит, не смеется, потому что это—кукла. Что ты на это скажешь, бедненький Мурон, бедненький Мурон-канареечное семя?

В начале этой маленькой комедии я вооружился пре-

зрением, чтобы успешнее противостоять заигрываниям соседа; но прелесть его голоса и его выдумки, очарование его души, скорбной и нежной, повлияли на мое сердце и перевернули его. Я вдруг почувствовал, что Мурон победил меня редчайшими и драгоценнейшими качествами ума и характера, и во мне загорелась к нему пылкая нежность. Я не мог подыскать слова; но он угадал то, что происходило во мне, и я увидел, как его нежное лицо осветилось радостной улыбкой. В секунду мы стали близкими друзьями. Мы все высказали друг другу. Я знал теперь Мурона так, точно мы все время прожили вместе.

Мурон—канареечное семя, Жак Мурон, дорогой мой, Мурон жил с матерью и сестрой в хорошенькой квартирке, на улице Сены, с обитой голубым и розовым плюшем мебелью. Отец его, Филипп Мурон, профессор химии в Высшей Технической Школе, умер молодым, как раз в тот момент, когда заканчивал важные открытия. Жак Мурон также хотел заниматься наукой.

— Есть науки очень красивые,—говорил он мне,—уверяю тебя. Только вряд ли я смогу изучить их. У меня плохое здоровье. Еще в этом году я был очень болен.

— Это не так страшно,—сказал я.

— Нет, не так страшно,—ответил он и улыбнулся своими белыми губами.—Моя сестра тоже была больна. Она пропустила три месяца занятий. По грамматике—причастия, по истории—феодализм. Как по-твоему?

— Я люблю историю, особенно когда она необычайна.

— И я тоже люблю. Но я совершенно теряюсь в этих империях и монархиях. Может быть, это потому, что я— такой маленький.

— Ты вовсе не маленький.

— Я становлюсь маленьким. Правда. Я уменьшаюсь. Скоро стану совсем, совсем маленьким.

Обед был, право, очень хороший. Были снежки, поданные в больших салатниках; налили шампанского. Все очень повеселели. Сам Лаперльер согласился чокнуться со мною, и я двадцать раз чокался с дорогим моим Муроном. Я рассказал ему историю про привратницу, выплеснувшую ведро воды в лицо хозяину, думая, что поливает шалунов, которые звонят у под'езда. Он со смехом, иногда прерывавшимся сухим коротким кашлем, рассказал мне случай с торговцем каштанами, у которого уехала его жаровня, кем-то привязанная веревочкой к колесу извозчика. Потом мы восхваляли Спартака, Эпаминонда и генерала Гоша. А Карл Великий казался нам немножко смешным со своей большой бородой.

— Знаешь,—сказал мне Мурон,—он хотел победить нормандцев с двадцатью тысячами франков.

Кажется, мы были слегка пьяны. И факт непреложный— я унес с банкета по ошибке салфетку в кармане. Я проводил Мурона до его дома. И там, сжимая его маленькую горячую руку, поклялся ему в вечной дружбе.

Я сохранил ее до конца его жизни. Он умер двадцати лет.

VIII

Романтизм.

Одним из самых странных людей, которые бывали у нас в доме, когда мне шел двенадцатый год, был г. Марк Рибэр, маленький черненький человечек лет пятидесяти или пятидесяти пяти, с торчащими вверх волосами, шишковатым лбом, впалыми щеками, довольно удачно умевший придавать себе роковой и разочарованный вид. Правда, его дела помогали ему в этом; говорили, что они, по его собственной вине, были в очень печальном состоянии. Сын оптового виноторговца в Берси, он в молодости усердно посещал мирок «молодой Франции», кокоток и бульварные театры, давал блестящие праздники, построил готический замок в Кламаре и растратил на всякие дорогие затеи отцовское наследство. Жена его умерла молодой, от туберкулеза, который в то время называли чахоткой, и оставила ему дочь, говорят—редкой красоты и хрупкого здоровья. Он слишком поздно сократил свои привычки и считал, что средства его на исходе. Таким образом, у него не было недостатка в причинах для тревоги и скорби; но хорошо его знавшие, например, мой отец, считали его человеком легкомысленным, пустым, все легко забывающим, и думали, что к своим подлинным несчастиям он был нечувствителен, а разочарованным был лишь по вкусу и по склонности к этому. Это был насквозь «романтик». В то время такие уже совсем больше не попадались. Во мне г. Марк Рибэр вызывал большое восхищение. В его сло-

вах, в его взглядах, в его жестах выражался его гений, его грёзы. Он представлялся мне окруженным сильфами, гномами, домовыми, ангелами, демонами, феями. Стоило послушать, как он, бывало, читал песню седой старины или какую-нибудь фантастическую балладу! Он утверждал, что безобразное красиво, а красивое—безобразно, и я, не задумываясь, ему верил. Теперь мне это уж не так легко. Г. Марк Рибэр поучал меня, что Расин—старый парик, старый башмак. Я слепо принимал это мнение, только потому, что оно было противоположно мнению моего профессора Бонома. Этот довод был для меня решающим. О, с каким жаром старый романтик приглашал меня обрушиться на лавочников и филистеров и раздавить гидру париков, и как я пылал желанием последовать его указанию и на теле поверженного г. Бонома провозгласить свободу искусства!

Дорогая мама горько жаловалась на влияние, какое г. Рибэр приобретал на меня. Иногда она говорила со вздохом: «Он скоро сделает Пьера таким же сумасшедшим, как он сам!..» Она возлагала надежды на г. Данкэна, моего крестного,—что он преодолет это дурное влияние. Но слишком было невероятно, чтобы г. Данкэн мог оказать на меня какое-нибудь действие: он был человек рассудка. Этот прелестный человек почитал г. Рибэра сумасшедшим, которого надо бы связать. Между нами говоря, он считал, вместе с г. Дювержье де-Оранном, что романтизм—болезнь в роде сомнамбулизма или эпилепсии, и благодарил небо, что эта болезнь уже почти совсем прошла.

С другой стороны, антипатия, которую мой крестный внушал г. Рибэру, была неодолимой, ибо она была слишком естественной. В глазах Марка Рибэра мой крестный был буржуа. А «буржуа»—этим было все сказано! Чтобы как можно меньше походить на эту позорную касту, Марк Рибэр носил какую-то особенную черную бархатную куртку и необычной формы широкие штаны. У него были длинные волосы, закинутые назад и придававшие его лицу что-то демоническое, и мефистофельская бородка. Он едко посмеивался над моим крестным, который был коротенький, с брюшком, носил длинный сюртук, на носу—золотые очки, как у г. Жозефа Прюдома, такой же, как у него, воротник, два кончика которого заходили на щеки, и черный шелковый галстук, трижды обмотанный вокруг шеи. А так как щеки у него были ярко-румяные, Марк Рибэр сравнивал лицо крестного в широком воротнике с букетом роз в белой бумаге. Это сравнение поражало меня своей точностью, и я вспоминал его каждый раз, как видел крестного, и хотел, как сумасшедший.

Крестный подозрительно пожимал плечами, обзывал меня круглым дураком и советовал итти учить уроки, вместо того, чтобы бить баклуши. Г. Марк Рибэр, напротив, убеждал меня не слушать своих профессоров.

— Это—мумии,—говорил он мне.

Не раз я присутствовал в маленькой гостиной отца при спорах между крестным и г. Рибэром. Крестный был при этом воплощенным Жеромом Патюро. Я не мог следить за ходом этих споров, еще меньше—оценивать доводы, какие

приводились тою и другою стороною. Я был только маленьким дурачком; но я был решителен в своих суждениях. Я считал, что всегда неправ крестный. Дело в том, что он не пользовался такими ослепляющими выражениями, как его противник. Этот все засыпал панцырями, шарфами, шлемами, гигантами, драконами, оруженосцами, карликами, капелланами, пажами, часовнями, отшельниками. От звука его голоса маленькая гостиная госпожи Нозьер превращалась в зачарованный мир, и в этом сказочном царстве гремели проклятия, сарказмы, гортанный смех старого романтика.

Как жалко звучали тогда ответные слова крестного, ссылавшегося на «Короля Ивто» или «Мельника из Сан-Суси» и позвякивавшего брелоками на толстом животе!

Я не мог бы сколько-нибудь верно передать их разговоров. Несомненно, я не улавливал самого существенного. Когда я теперь силюсь вспомнить некоторые их рассуждения, мне кажется, что г. Данкэн не всегда уж был так неправ, как я тогда думал. Он жаловался на то, что теперь стерлись некоторые оттенки языка, когда-то очень четкие и общепризнанные, что теперь стали писать много хуже и не так ясно. Он сожалел далее, что разум потерял власть над умами. Но на стороне г. Марка Рибэра было то неопределимое преимущество, что он выражал мысли, трудно понимаемые. Самая их смутность делала их для меня красивыми. Никогда не восхищаешься слишком ясным. Нет восхищения без изумления. Так, меня привело в полный восторг его определение романтического произведения:

— Это—создание возмущения и скорби,—говорил Марк Рибэр,—это горькая печаль, подмешанная к лихорадочному исканию бесконечного, это—отчаяние, сокрытое под самой едкой иронией.

Уж не помню, что еще... я трепетал от страха и восхищения.

Политические споры между этими, столь различными по духу и по натуре, людьми были так же страстны, как и споры литературные, только гораздо короче. В политике крестный не признавал ничего, кроме Наполеона, а г. Рибэр сожалел, что нет Людовика Сварливого. Он клялся всеми святыми, что хотел бы жить при этом Людовике. Крестный думал, что он шутит. Совершенно напрасно. Марк Рибэр никогда не шутил, и эта серьезность в его безумствах давала ему громадную власть над умом такого ребенка, как я. Мысль, что хорошо бы жить в царствование Людовика Сварливого, так завладела мною, что я постепенно повторял ее матери, Жюстине и товарищам по классу.

Как-то раз, за большой переменой, я поделился ею с Фонтанэ. Как ум более здоровый и возвышенный, он ответил, что хотел бы жить в царствование Людовика Святого.

Я никогда не бывал у г. Марка Рибэра, хотя уж очень давно был с ним знаком. Но раз утром отец, отправляясь к нему не то, как врач, не то, как друг, взял и меня с собою. Г. Марк Рибэр жил на правом берегу Сены, близ Мадлэн, на улице Дюфо. Улица не представляла собою ничего романтического, дом—также. Построен он был не при Людовике Сварливом, но только при Людовике-Фи-

липпе. Лестница, с ковром из некрашеного сукна и белыми перилами, ничуть не отражала вкусов г. Рибэра; столь же мало соответствовала им передняя с вешалкой и стойкой для зонтиков. Но—терпение! Отец один пошел по коридору, который, вероятно, вел в комнату г. Рибэра, а меня впустившая нас очень толстая горничная ввела в маленькую гостиную с диванами, вышитыми подушками и восточными коврами. На стене висела громадная картина, и она сразу дала мне почувствовать всю прелесть горя. Горе сильнее трогает благородные сердца, когда оно красиво. Картина—она изображала, как тонет, улыбаясь, белокурая, прелестная Офелия,—глубоко меня растрогала. Офелия отдавала себя течению и плыла, слегка поддерживаемая платьем. Голова ее в венке из травы и цветов, лежала на воде, как на подушке. Ручеек и прибрежные деревья были бледно-зеленоватых тонов, отражавшихся на лице девушки. В глазах ее была наивная удивленность бездумия. Я залюбовался этой картиной, такой изящной и трогательной. Вдруг я услышал молодой голос, певший со странными и неожиданными перерывами: «Прощай, корабль прекрасный мой!» И этот романс, который в другое время, может быть, не произвел бы на меня никакого впечатления, потряс мои нервы, и я зарыдал. Пение оборвалось. Я все еще дрожал. Шум отворяемой двери заставил меня повернуть голову, и я увидел в пролете двери девушку, одетую как Офелия, в белое платье, с такими же светлыми, как у нее, волосами и с цветами в руках. Увидав меня, она слегка вскрикнула и убежала. Целыми днями стояли перед моими глазами Офелия и

эта, на нее похожая, девушка. Я читал и перечитывал до того, что знал уже наизусть рассказ королевы из Шекспировской пьесы: «Есть на берегу ручья ива, и хрустальная вода отражает ее бледную листву. Офелия оторвала ветку, чтобы сплести гирлянду из нее вместе с лютиками, павиликой, маргаритками и теми красноватыми цветками, которые наши девушки зовут пальцами мертвых. Но в то мгновение, как она нагнулась, чтобы повесить свою гирлянду на никнувшие к воде ветви, вдруг одна несчастная ветка надломилась, и Офелия со своими цветами упала в печальный ручей; одежды ее распростерлись по воде и несколько мгновений поддерживали на поверхности, как фею вод. А она пела старинные баллады, не понимая опасности».

Через несколько дней, может быть, недель, после того, как я был в этом доме на улице Дюфо и пережил там глубокое волнение, я узнал от родителей, из их разговоров за обедом, что г. Марк Рибэр совсем покинул Париж, так как ему не на что было жить, и уехал в деревушку на берегу Жиронды к родственникам, у которых там были виноградники, увез с собою и свою дочь Беранжэр, здоровье которой вызывало тревогу. Это известие опечалило меня, но несколько не поразило неожиданностью. Я ждал таких печальных вестей.

Время шло. Незаметно, как прелестное тело возлюбленной Гамлета, воспоминание о девушке с цветами исчезло из моей памяти. Потом как-то вдруг я вспомнил о ней в одно осеннее утро, когда моя милая мама запела: «Прощай, корабль прекрасный мой!..»

Я спросил:

— Мама, а что стало с г. Марком Рибэром? Уже больше пяти лет, как я ничего не слышал о нем и о его дочери.

— Господин Марк Рибэр умер, дитя мое. Разве ты не знаешь этого?.. Дочь его сошла с ума. Безумие у нее очень тихое. Она бережно хранит в коробочке камушки, которые считает жемчугом и бриллиантами. Она показывает их и дарит навещающим ее. Сумасшествие ее принимает и еще более странные формы. Она говорит, что не может читать, потому что, как только раскроет книгу и взглянет на страницу,—буквы взлетают, как мухи, и жужжат в комнате. Поэтому она хочет читать только букеты: их она разбирает очень хорошо, ибо знает язык цветов. Но теперь уже и цветы разлетаются перед ее глазами, как бабочки.

— Что же свело ее с ума?

— Несчастливая любовь. Она была невестой. Узнав, что господин Марк Рибэр потерял все свое состояние и даже те маленькие средства, которые принадлежали его дочери, жених Беранжэр взял свое слово назад.

Я возмутился.

А мать сказала с грустной улыбкой:

— Дитя мое, люди часто бывают трусами и без чести. Эта мысль поразила меня.

В ней не было ничего особенного, но она была так необычайна в устах моей матери, верившей в доброту человека.

IX

Очарование.

Вскоре после этого произошло событие, составившее эпоху в моей жизни. Я побывал в театре на представлении настоящей пьесы. Родители вообще не ходили в театр, и понадобилось необычайное стечение обстоятельств, чтобы они повезли меня туда. Мой отец спас своим искусством и своими заботами жену одного драматурга; вскоре после этого счастливого излечения драматург поставил в театре Порт-Сэн-Мартэн свою историческую драму; признательный автор предложил отцу ложу, и как раз на тот единственный вечер в неделю, когда я мог лечь позднее спать, на субботу, хотя именно в этот день директора театров особенно скупы на бесплатные билеты; ко всему этому, пьеса была признана безобидной для невинных ушей.

Целые сутки я мучительно колебался между страхом и надеждой; меня трясло, как в лихорадке, от ожидания этого неслыханного блаженства, которое могла разрушить какая-нибудь неожиданная случайность. До последней минуты оставалась опасность, что доктора позовут к какому-нибудь больному. В день спектакля мне казалось, что вечер никогда не наступит. Обед, за которым я не проглотил ни кусочка, тянулся без конца, и я смертельно боялся, что мы опоздаем. Мать никак не могла кончить одеваться. Она сама боялась пропустить первые сцены и тем обидеть автора, и все-таки тратила драгоценное время на прикалывание цветов к корсажу и к волосам. Моя милая мама

внимательно рассматривала, изучала в зеркале свое платье из белого муслина с прозрачной туникой, расшитой зеленым горошком, и, повидимому, придавала большую важность прическе, линии, которую образовывала с корсажем кружевная берта, вышивке на коротких рукавах и другим подробностям своего туалета, которые я считал легкомысленными. Позже я изменил такое мнение. Позванный Жюстиной извозчик ждал нас. Мама налила на платок лавандовой воды и сошла вниз. Но на лестнице спохватилась, что забыла на туалетном столике флакон с солями и послала меня за ним. Наконец, мы приехали; привратница ввела нас в красную ложу, открывавшуюся на обширную залу, полную народа, откуда неслись негармоничные звуки настраиваемых инструментов. На меня сильно подействовала торжественность трех ударов на сцене, за которыми последовала глубокая тишина. Поднявшийся занавес был для меня поистине переходом в иной мир. И в какой блестящий мир я попадал! Там жили рыцари, пажы, дамы и девицы, жизнь была прекраснее и величественнее, чем в том мире, в который поместило меня мое рождение; страсти были там сильнее, красота—прекраснее. В этих огромных готических залах одежды, движения, голоса очаровывали чувство, поражали ум, восхищали сердце. Для меня не существовало уже ничего, кроме этого сказочного царства, вдруг открывшегося моему любопытству и моей любви. Меня подчинил себе всевластный вымысел, и то, что как будто должно было бы разрушать его, напоминая мне, что я присутствую при театральной игре,—подмостки, арлекин,

полосы крашеного холста, изображавшие небо, драпировки по сторонам сцены—все это, напротив, еще крепче держало меня в волшебном круге. Драма переносила нас в последние годы царствования Карла VII. И каждое действующее лицо пьесы, вплоть до ночного сторожа и сержанта патруля, запечатлевалось во мне, как живой образ. Когда же появилась Маргарита Шотландская, мною овладело волнение совершенно необычное; я то пылал, то холодел, я был близок к обмороку. Я полюбил ее. Она была прекрасна. Никогда я не думал, что женщина может быть так прекрасна. Она явилась в ночи, бледная и грустно-задумчивая. Луна—сразу было видно, что это луна средневековая, так как она была окружена зловещими облаками и была в дружбе с колоколами,—луна лила на юную наследницу престола серебряные лучи. Вьются вихрем воспоминания, и я не знаю, в каком порядке их передавать и как довести рассказ до конца. Я был поражен белизною Маргариты; а так как веки у нее были синеватые, я решил, что это признак аристократизма. Она была женой дофина Людовика, но любила стрелка Рауля, юного и прекрасного, не ведавшего, кто его родители, что наполняло его глубокою печалью. Как же упрекнуть Маргариту за любовь к Раулю, когда знаешь, что этот воин—сын Карла VII? Король, которому астролог предсказал, что он умрет от руки сына, приказал подкинуть в чей-нибудь дом своего новорожденного ребенка и вместо него взял найденыша, который затем и женился на Маргарите Шотландской и стал дофином Людовиком; таким образом, Маргарита была предназначена именно

Раулю. Она не знает этого, не знает и Рауль, но таинственная сила влечет их друг к другу.

Антракты, возвращавшие меня к повседневной жизни, казались мне отвратительно грубыми, и выкрики: «Сироп, лимонад, пиво!», хотя и были новы для моего слуха, то есть лишены будничности, оскорбляли меня своей пошлостью.

Из афиши я узнал, что роль Маргариты Шотландской играла Изабелла Констан. Это имя огненными буквами, полными очарования, врезалось в мое сердце. Я еще не совсем лишился рассудка и различал образ и его исполнительницу; но все же я наделял Изабеллу Констан всеми качествами Маргариты Шотландской, с какими изобразил ее драматург,—любовью к поэзии, душою возвышенной и чистой, благородным сердцем, романтической грустью.

В последнем антракте к нам в ложу зашел автор—высокий мужчина, с проседью и угреватым лицом,—и очень любезно раскланялся с матерью. Он положил мне руку на голову с таким жестом, как это когда-то делала Рашель, стал ласково расспрашивать о моих занятиях, хвалил за рано проявившийся вкус к литературе и советовал основательно изучить латынь, которую сам он знал в совершенстве; это придало силу его стилю, весьма отличному от стиля его сотоварищей-драматургов, писавших, как извозчики. Я едва отвечал ему, не глядя на него. Если бы он знал причину такого моего равнодушия, оно должно было бы ему польстить; но он, вероятно, решил, что я глуп, и не понял, что причина этой глупости—то огромное впечатление,

какое произвело на меня его произведение. Занавес вновь взвился. Я опять ожил. Маргарита Шотландская снова была со мною. Увы! я нашел ее лишь для того, чтобы тотчас же потерять. Она погибла от руки дофина Людовика в тот самый момент, когда Рауль бросился к ее ногам. Рауль упал, сраженный тем же кинжалом, и, умирая, узнал, что он любим. Как я завидовал его участи!

В понедельник, за утренним уроком, с гордым презрением глядел я на своего профессора, настаивавшего на чрезвычайной важности трех залогов греческих глаголов, — как будто что-нибудь в мире могло иметь какую-либо важность, кроме Изабеллы Констан, ее славы и ее красоты! Созерцая обожаемый образ, запечатленный в моем сердце, я совсем не слушал объяснений г. Боссье о среднем залоге, который не вполне то же самое, что средний, как это часто думают. Вследствие такой невнимательности я не мог ответить, значит ли *paraskethesthai* «представляться» или представляет собою», что, очевидно, совсем не одно и то же. Вместо того, чтобы ответить наугад, что давало один шанс из двух ответить верно, я тупо молчал, и был обозван лентяем; я остро почувствовал эту обиду, потому что любовь делает души гордыми.

За переменной я рассказал о вечере, решившем мою судьбу, Мурону, тонкая душа которого казалась мне подходящею для моих признаний. К моему большому разочарованию, Мурон, вместо того, чтобы восхититься и растрогаться, в течение всего моего рассказа иронически усмехался, а когда я заговорил с ним о красоте Изабеллы,

он совершенно хладнокровно ответил тою раздражающею игрою слов, которая была свойственна его уму полиглота:

— *Isabella bella donna*, короче сказать,—Изабелла донна.

У Мурона иногда проявлялась узорсть ума.

Вечером, когда мы с сумками под мышкой шли по обыкновению по улицам Шерш-Миди и Сэн-Пэр, я не мог удержаться и стал говорить Фонтанэ о том единственном, что для меня существовало. Зная ироническую складку ума моего товарища, я боялся, что он подымет на смех восторженность моих чувств. Напротив, лицо его стало серьезным, и он как бы поощрял меня своим молчанием к тому, чтобы сполна излить перед ним свое сердце. Неожиданно найдя душу, способную меня понять, я описал дорогому своему поверенному то состояние, в которое привело меня видение Марии Шотландской, белой в лучах луны.

Фонтанэ мрачно поглядел на меня и сказал:

— Берегись, Нозьер, берегись: женщина коварна.

И с неожиданной силой прибавил:

— Когда женщина, которую ты полюбил, бродил с нею по мху леса, вплетая в ее волосы цветы шиповника, получал от нее под липой клятвы верности,—когда такая женщина вдруг окажется изменницей,—это ужасно, знай это! Тогда теряется смысл жизни, перестаешь жить, становишься лишь тенью или трупом.

Несомненно, эти слова не соответствовали в точности моим чувствам, но в них дышала любовь, и мы обменивались нашими песнями, как сицилийские пастухи. Мне

это доставляло удовольствие, и в то же время я был изумлен.

Никогда до этого дня Фонтанэ не говорил со мною о вероломстве женщины и никогда не говорил ни о чем так возбужденно. Обыкновенно его разговоры свидетельствовали, наоборот, скорее об уме деловом, и я восхищался им больше всего как государственным мужем. Но на этот раз Фонтанэ не думал о государственных делах. Весь он был во власти роковой любви и высказывал самые свирепые решения.

— О,—воскликнул он,—изведать наслаждения мести!

— Я хотел бы еще раз увидеть ее, хоть на один миг,—вздыхнул я,—хотел бы, чтобы она только прошла мимо.

Фонтанэ пробормотал имя Мадлэн, и, казалось, какие-то страшные муки терзают его сердце.

— Кто это—Мадлэн?—спросил я взволнованный,—где ты с нею познакомился?

Фонтанэ ответил очень серьезно;

— Мадлэн—героиня одного романа, в котором рассказывается подлинное событие. Я прочел его в воскресенье, на скамейке в Люксембургском саду, около статуи Велледы. Роман называется «Под липами». Нужно его прочесть, чтобы знать, что такое страсть. Я дам тебе его.

Дни проходили за днями. Я не забывал Изабеллу, думал о том, в каком она живет дворце, в каких великолепных садах гуляет. Но не было никого, кто бы мог мне на это ответить. У меня не было связей с театральным миром. За отсутствием сведений, я выбрал ей жилище по своему

вкусу, замок XV века, в котором я собрал все богатства востока.

Раз, в четверг, я встретил на улице Турнон своего соседа г. Менажа; он шел из Люксембургского музея, где делал копию, для заработка, с «Призыва осужденных», большой сентиментальной картины, которая, говорил он, надоела ему до тошноты. Он жаловался, что искусство падает, проклинал филистеров, прирожденных врагов таланта, долго ругал худосочную живопись Анри Шеффера и, полный ужаса и отвращения к современности, посылал анафемы буржуазной поэзии, роману и театру. При помощи всяких уловок и настойчивости мне удалось направить разговор на театр, и я спросил его, знает ли он Изабеллу Констан.

— А, маленькую Констан!—закричал он и сразу улыбнулся.—Это дочь дяди Констана, парикмахера на улице Вавэн; вот, отсюда видна его голубая лавочка с золотым шаром, с которого свешивается конский хвост. В клетке, под окном на антресолях, свистят чижи маленькой Констан, похожие на нее своими шалостями, своим чириканьем и умом... А мать Констан, в шляпке с маками и красными лентами, с буклями, в маленькой желтой шали и с корзинкой! Она не отходит от дочери, провожает ее в театр, заставляет ее глотать сырые яйца для голоса, сидит в уборной своей крошки, принимает журналистов и влюбленных, перечисляет привратницам все прелести Изабеллы и все лекарства, какими пичкает ее, и отвозит дочь домой «последней омнибусой»... Если хочешь увидеть малень-

кую Констан—ничего нет проще. Каждый понедельник дядя Констан моет ей голову хинной водой, потом, около четырех, если хорошая погода, ведет ее в Люксембург, усаживает на складной стул и курит рядом свою трубку, пока волосы наследницы сушатся на солнце...

Х

Напрасная дружба.

Я вместе с Муромом и Фонтанэ входил в группу перипатетиков, которые во время перемен прогуливались по двору и рассуждали обо всем: и о том, что можно знать, и о том, что неизвестно. И я отнюдь не удивлю мудрецов, если скажу, что чем труднее были обсуждаемые нами проблемы, тем легче мы их разрешали.

Мы не знали никаких метафизических трудностей, несколько не смущали нас время и пространство, дух и материя, конечное и бесконечное. Пожалуй, трудности, представляемые уму такими темами, меня смущали несколько больше, чем товарищей, а потому Фонтанэ сомневался в глубине моего ума.

Мы часто говорили о выборе карьеры, и чем дальше шли занятия, тем все настойчивее этот вопрос стучался в нашу мысль. Мурон, чувствуя, что поражен тем же недугом, который так рано свел в могилу его отца, и желая обмануть себя, был особенно богат всякими планами. Настоящая любовь к языковедению толкала его к про-

фессии кабинетного ученого; но он боялся, что здоровье не позволит ему отдаться такой работе, и потому предназначал себя к воздухоплаванию. Была у него также склонность и к энтомологии, и он поистине поражал нас глубоким знанием нравов муравьев.

Фонтанэ проявлял меньше колебаний в выборе карьеры. Он хотел быть адвокатом и собирался начать выступать, как только достигнет положенного возраста. Мечтая стать новым Беррье, наш красноречивый товарищ, в стремлении к трудностям, уже разыскивал какой-нибудь крупный проигранный процесс. Именно в стане пораженных, говорил он, может проявить себя величие души.

А я, не чувствуя в себе никакого призвания, наперед мирился с тем, что буду делать какое-нибудь маленькое дело, и, приноравливая свою судьбу к своей натуре, желал остаться посредственностью. Но эта посредственность касалась лишь дел и не распространялась на сферу духа: я хотел все видеть, все знать, все ощутить, включить в себя весь мир. Этому желанию так и не суждено было сбыться полностью.

Часто к нам присоединялся Шазаль. Мы презирали грубость его ума, но не могли не признавать его бесхитростной, простой доброты. Учителя и товарищи всласть насмехались над его старомодной речью, над его провинциальным говором, над его невежеством в искусстве и в литературе; часто его колотили, хотя он был очень силен, он никогда не злоупотреблял своей силой. Шазаль всегда сохранял спокойствие, самообладание и ту ясную веселость,

источник которой был в нем самом. Он любил только деревню. Он был из рода крупных землевладельцев и готовил себя к тому, чтобы поднять до цветущего состояния имения своей семьи. Я любил деревню не меньше его, но по иному. Он любил ее как трудолюбивый и цепкий крестьянин. Он искал в ней приложения своим силам и барыша. А я хотел изведать на груди природы то наслаждение, какое она примешивает к смерти. Я просил ее раскрыть мне свою тоскующую красоту. Как мало меняется человек! Пишу эти строки, и чувствую, как волнуют меня те же волнения детских лет...

Я знал, что способен к дружбе, и питал ее к Мурону. Нежность моя к нему, сменив долгую враждебность, вдруг вспыхнула с большою силой, и обаяние Мурона сделало нашу дружбу очаровательной. Меня пленял его ум редкой законченности и его характер, твердый при всей своей мягкости. Единственную опасность, грозившую нашему полному согласию, создавала моя склонность к преувеличению, которая не раз портила мои лучшие намерения. Я слишком долго не знал Мурона, и потому, как бы желая вознаградить себя за это, восхищался им с чрезмерностью, которая утомляла и меня, и его. И я рисковал оскорбить не только его скромность, но и то чувство меры, которое составляло самое существо его души, его характера.

Я не знал, что люблю Шазалья. Это покажется совсем непонятным, если я прибавлю, что всякий раз, когда я видел и слышал Шазалья, во мне загоралось радостное чувство. Я чувствовал первобытную красоту его души, мне

нравилась его деревенская речь. Но, рабски покорный общественному мнению, признавшему Шазалю дураком, я был достаточно глуп, чтобы верить, что лишь мой собственный ум вкладывал прелесть в его неуклюжесть. Должен еще сознаться, что от него сильно пахло потом, а я предпочел бы, чтобы от него пахло фиалками.

Фонтанэ я знал очень давно и уже не разбирал основ этой старой дружбы. Она должна была остаться непоколебимой. Мое преклонение перед его умом, и еще более — то чувство удовлетворения, какое давала ему моя доверчивая простота, с каждым днем все более укрепляли соединявшую нас связь. У Фонтанэ был не только лисий профиль, но и лисий нрав. Не будь у него вкуса к лести и непрестанной страсти кого-нибудь обманывать, я думаю, он выбрал бы себе товарища менее простодушного, чем я.

Среди перипатетиков были еще маленький Совиньи, «ростом с сапожок», гордый как Артабан, намечавший для себя карьеру моряка и упорно отказывавшийся учить географию на том основании, что он великолепно изучит ее во время плавания, и еще Максим Дени, сочинивший латинскую поэму, в подражание Овидию, о превращении г. Мезанжа в птицу. Для тех, кто может быть этого не знает, скажу, что г. Мезанж, наш профессор математики, в этой переходной жизни был облечен в огромное нескладное тело, необычайно грузное, и изнемогал под его тяжестью. Эта неповоротливая масса вечно обливалась потом, и от нее шел теплый пар, который очень любили мухи. Природа в своей беспечности приделала к этому чудовищному туловищу

совсем детские ручки, и г. Мезанж не мог без усилий отгонять насекомых, роem савившихся на его мокрый череп.

Почая нас свойствам чисел, он с завистью смотрел на легких птичек, клевавших на дворе крошки. И Максим Дени из чувства симпатии воспевал превращение грузного профессора в птицу—синицу. В памяти у меня сохранился лишь один стих, изящную латынь которого читатель оценит:

Versicolorque merops, apibus certissima fessis.

Pernicies...

Так, под бдительным оком надзирателя Пелиссье, обменивались мы мыслями, то веселыми, то серьезными. Но неожиданно чувство, которому я отдался со странным увлечением, вдруг выбило меня из этой избранной компании. Совсем незначительное обстоятельство дало толчок этому чувству. Отец, как-то случайно заметив, что я никак не могу решить геометрических задач, не представлявших ничего неразрешимого, приписал это тому, что я не знаю первых элементов геометрии, в которой одни истины вытекают из других. Чтобы этому помочь, он попросил г. Мезанжа повторить со мной пройденное по геометрии. Г. Мезанж согласился и два раза в неделю, от половины пятого и до половины шестого, стал заниматься со мною отдельно, вместе с моим товарищем Тристаном Дерэ. Я хорошо его знал: уже пол-года он посещал те же уроки; но я почти совсем не разговаривал с ним. Мы обменивались лишь немногими словами на уроках рисования, на которых он бывал очень рассеян, а я внимательно срисовывал голову Герсилии. Дерэ, будучи одного со мною

роста и возраста, казался много моложе. Я не разглядывал его лица, но красные, точно покрашенные губы привлекали мое внимание. Заметил я также его слегка вьющиеся каштановые волосы, местами золотистые, длинные ресницы, матовый цвет кожи и слишком большие уши. Он мог бы показаться холодным и резким, если бы не легкая улыбка, обычно озарявшая его лицо. Он грыз ногти до крови, и это портило его руки. Тонкий, гибкий, он был мускулист и силен. Все его движения были изящны, и я, рано привыкший к античной скульптуре, чувствовал это. Вообще, его превосходство во всех телесных упражнениях быдо единодушно признано всеми; он напоминал среди нас английского студента. Школьная молодежь в ту пору совсем не занималась спортом. Физическая культура была в забросе. Уроки гимнастики, которые нам давал пожарный капрал, мало посещались. К гимнастическим аппаратам, устроенным в одном из дворов, мы относились с пренебрежением.

Но некоторые игры, в роде городков и мяча, давали наиболее ловким возможность проявить себя. Здесь первенствовали Дерэ и Ла-Бертельер. Я уклонялся от этих атлетических игр, не чувствуя к ним никакого влечения, да и не надеясь в них отличиться, и Дерэ совершенно не привлекал моего внимания. Но после первого же общего урока геометрии я вдруг почувствовал к нему дружбу.

Сами по себе эти уроки геометрии были достаточно несуразны. Г. Мезанж обучал заодно Дерэ, готовившегося к экзаменам в Сэн-Сирскую школу, и ученика, который без посторонней помощи не мог бы справиться с первыми

начатками. Урок давался в классе большого коллежа, в час обеда; силясь

Окружности круга и дуги измерить
И в формулы смутные мыслью проникнуть,

мы чертили на черной доске фигуры и глотали вместе с нашим хлебом и шоколадом пыль от мела, а в это время, в комнате рядом, г. Реньё, лауреат консерватории, давал Ла-Бертельеру и Морло урок на скрипке, который легко можно было принять за кошачий концерт; резкие звуки быстро погружали г. Мезанжа в глубокий сон с храпом. Уважая покой профессора, Дерэ вел со мною разговоры, которые, не знаю почему, восхищали меня. Часто говорил он о своих галетуках, расхваливал их фасон и цвет; посвящал также в свои успехи в верховой езде и в свои надежды на то, что на каникулах мать даст ему лошадь. Затем, решив, что урок длится уже достаточно долго, он тряс тряпкой над учителем, спавшим с раскрытым ртом, и тот сразу просыпался и чихал в облаке меловой пыли.

Мало научился я геометрии за этими уроками, зато я наслаждался сладкою прелестью дружбы. Мне было бесконечно приятно видеть Дерэ, говорить с ним, смеяться. С той поры я стал искать его общества, стал принимать участие в его играх. Когда вошли в моду ходули, Дерэ, всегда следовавший моде, достал себе пару ходуль. Подражая ему, и я взгромоздился на такие же высокие, как у него, хотя страшно боялся упасть, да и не без основа-

ния, потому что не отличался ловкостью. Я уже не пропускал игр в городки и в мяч, хотя до того чувствовал к ним только отвращение. Могу сказать без самообольщения, у меня всегда была большая склонность к щедрости, но не было случая проявить ее. Теперь он был всегда налицо. Я заметил, что Дерэ любит писчебумажные принадлежности, и я дарил ему самые красивые тетрадки, какие только были в лавке госпожи Фюзелье,—тетрадки в белом холщевом переплете, из черной шагрени или из сафьяна Лавальер, с золотым обрезаем. Я подарил ему ручку с серебряным шариком на конце и карманную кожаную чернильницу. Я разорялся на эти подарки, мать поражалась беспорядку в моих финансах и настойчивости моих просьб о кредите.

Дерэ не отличался ни вдумчивостью, ни трудолюбием, но ум у него был быстрый; он умел нравиться и пробрался таким образом в первый ряд, в среду тех, кого мой крестный, палеонтолог, звал «приматами». Моя дружба к нему достаточно сильно побуждала и меня на время подняться до этих ступеней; но от меня, менее ловкого, это потребовало гораздо больше усилий.

Я искал его общества куда больше, чем он моего, и после урока геометрии провожал его домой на улицу Сэн-Доминик, хотя для этого мне приходилось делать большой крюк. Как-то вечером, на перекрестке Круа-Руж, мы встретили пожарного капрала Дюлюка, помощника надзирателя.

— Подпоим его,—шепнул мне Дерэ.

Он подошел к молодому солдату, застенчивому, как девушка, затащил его, сильно красневшего, к табачному торговцу на перекрестке и угостил его водкой и папиросами. Мы чокнулись за его здоровье. Пожарного Дерэ не напоил, но у меня вызвал страшнейшую головную боль. На следующий день он заставил меня выкурить папироску из мэрилендского табаку, и мне стало дурно. Каждый день приносил что-нибудь новое, заставлявшее меня все более восхищаться моим другом.

Дерэ принадлежал к офицерской семье и готовился к военной службе. И у меня тогда проявилась, раньше никогда во мне не замечавшаяся, любовь к военному делу. Я уже видел себя лейтенантом, капитаном, героическим, нежным и меланхолическим, как офицер из поэм Альфреда де-Виньи. А пока я тщетно искал, как бы дать Дерэ самые яркие доказательства моей к нему привязанности.

Как-то раз я прочитал в одной книге по греческой поэзии надгробную эпитафию Аминтору, сыну Филиппа, погибшему юношей в сражении, когда он прикрыл своим щитом своего друга. Я затрепетал от желания умереть за Дерэ.

Эта героическая дружба была внезапно разбита. В один осенний день, за большой переменной, когда составляли партии в мяч, Дерэ и Ла-Бертельер стали подбирать себе партнеров. Ссылаясь на то, что я играю слабо,—это была сущая правда,—Дерэ не принял меня в свою партию. Я тотчас же порвал с ним, с большой досадой, но без

всякого сожаления, и чувствовал, что дружба уже не возобновится.

Так этот друг, за которого еще накануне я хотел умереть, сделался мне безразличным.

XI

Э г л а.

*Sanguineis frontem moris et
tempora pingit.*

Виргилий, Экл. VI.

— Пьера узнать нельзя,—сказала мать,—у него стал какой-то неровный, странный характер. Он вдруг без всякой причины переходит от радости к печали.

— Ему нужен свежий воздух, больше движения,—сказал отец.

В половине августа, думая, что деревня принесет мне пользу, родители, которые сами не могли уехать из Парижа, отправили меня к внучатному племяннику госпожи Ларок, Исидору Гонзу, огороднику в Сэн-Пьере около Гранвилля.

Железная дорога доходила в то время лишь до Карантана. Из этого порта, где на узких кривых улицах работают, прислонившись к старым стенам, опаленные солнцем кружевницы, дилижанс привез меня в Гранвилль.

Гонз ждал меня там. Угостив меня в кабачке предместья двумя кружками очень крепкого сидра, от которого у меня разболелась голова, он в тележке отвез меня в деревню Сэн-Пьер, где был старшиною и где ему принадлежали отличные луга, без труда дававшие ему хороший барыш.

Краснощекий, с толстой шеей, он отличался большой способностью пить и наживать деньги, едва умел читать, но законы знал лучше своего нотариуса и, хотя говорил на патуа, умел рассказывать не хуже Бероальда де-Вервилль. Его жена, хвораая, казавшаяся старше своих лет, отлично умевшая себя держать, всем своим видом и манерами напоминала монахиню, как большинство зажиточных крестьянок того времени. Дочь их, Матильда, была в отца по силе и здоровью; пожалуй, несмотря на слишком резкий румянец и нескладную речь, хорошенькая и не глупая, как и ее родители. Но я не обращал на нее никакого внимания; застенчивый, необщительный, я встречался со своими хозяевами только за едой, и то мне казалось, что они слишком долго сидят за столом. Мне была несносна медлительность кофепития, столь любезного сельским жителям. Я спешил вернуться к своему одиночеству, населенному образами моих грез, и бегать по лесам и полям.

Деревня южным концом упиралась в большую дорогу, а со стороны севера спускалась к пруду; над которым вились парами белые бабочки, и к небольшому лесу с остатками высокоствольных деревьев; они доставляли мне особенное наслаждение. В пятистах шагах от этого леса возвышался среди рвов, где вечером кружились мириады насекомых, замок Сэн-Пьер, обитаемый лишь галками. Потолки его рухнули, и только уцелевшие широкие печи обозначали высоту этажей. Я часто ходил туда и взбирался на развалины, которые пели, когда дул ветер.

Я странно изменился и сам не узнавал себя. Я насла-

ждался, когда в стремительном беге царапался о колючки заборов. Раньше неловкий, я теперь карабкался по деревьям, как кошка, и целые дни проводил неподвижно, без мысли, сидя на дубе, в крепких и славных его руках, вздеваемых гигантом к небу. А то уходил в самую глубь леса и, растянувшись на мху, дремал под звонкий шопот листвы.

Раз утром я шел пешком в Гранвилль, верстах в двух от Сэн-Пьера. Небо было низкое и шумливое, несся запах морского прилива, ветер был насыщен солью. Я шел теми местами, где почти век тому назад цвела, как яблоня, юная красавица мадам Ларок. Я смотрел на старые стены, в которые когда-то шуаны вонзали свои штыки и по ним, как по лестнице, шли на приступ замка. Облокотившись о перила, долго глядел я на бурые скалы, на берег с водорослями, на который прилив бросал пену, и ветер поднимал ее брызгами; смотрел на горизонт, который был мрачнее и печальнее всего, что рассказывает нам старый Гомер о берегу киммерийцев.

И вот, сердце мое, полное грусти и тревоги, не выдержало. Я рыдал, я хотел умереть, не от усталости и пресыщения бытием, но потому, что жизнь казалась мне слишком красивой и слишком очаровательной, чтобы не почувствовать и прелести смерти, ее сестры и друга, всегда с нею сопряженной; так была мне дорога природа, что я хотел уничтожиться в ее лоне. Никогда еще не была она со мной так ласкова. В грудь вливался теплый и ароматный воздух, дыхание вечера дарило новые ласки и поднимало во мне неведомые трепеты.

Отец Гонз, думая, что я скучаю, дал мне старое ружье и посоветовал развлечься охотой на дичь. Я пошел стрелять галок, свивших гнезда в камнях старого замка. Застрелив одну, я видел, как она упала; крылья не двигались, одно перышко кружилось в воздухе и медленно опускалось следом за нею. А все эти красивые птицы развалин стали носиться над моей головой с резким криком, и крик этот терзал мне слух, как проклятие. Совершенно подавленный, я убежал. Мое преступление вызывало во мне ужас. Я дал клятву никогда больше не убивать животных, в воздухе или в лесу.

Я взял Virgiliya, лежавшего у меня в чемодане, читал, перечитывал, напевал его про себя со слезами, с восторженным волнением. Эти порывы возбуждения сменялись днями какого-то оцепенения.

Был жаркий день. Я дремал в лесу; листву пронизывали золотые стрелы солнца. Меня разбудила трогавшая мое лицо рука. Это была дочь моего хозяина, Матильда; она давила у меня на щеках и висках тутовые ягоды, подражая, сама того не подозревая, Эглэ, прекраснейшей из наяд, пачкавшей этим соком лицо Силена. Только Матильда Гонз, зная, что я лишен таланта, не требовала от меня, как Эглэ от Силена, одной из тех песен, что зачаровывают пастухов, фавнов и диких зверей. Не дожидаясь моего пробуждения, она быстро убежала, бросив мне свой насмешливый хохот.

XII

Бакалавр.

Еще совсем молодым г. Дюбуа посвятил свою жизнь искусству и литературе. Он выучился греческому языку, чтобы читать в подлиннике Гомера, и брал уроки у знаменитого Клавье. Когда я с ним познакомился, он пламенно любил античное искусство и поэзию и старался и меня заразить этою любовью. Иногда, наклонившись над книгою, которую я перелистывал, он давал мне ценные уроки. Каждый раз, когда я вспоминаю о них, я неизменно думаю о той, часто воспроизводившейся, группе, где сладкозвучный Сатир, обучает молодого фавна игре на свирели:

Пальцы мои, еще юные, слабые, он обучал
Двигаться резво по дырочкам дерева звонкого.

Г. Дюбуа, весь пропитанный Винкельманом, дал мне произведение этого знаменитого знатока древности, чем очень встревожил мою мать, не без основания боявшуюся, что эти огромные фолианты, которыми я зачитывался до бледноты, заставят меня пренебречь школьными занятиями.

Я и пренебрегал ими: сравнивая с г. Дюбуа, с его вкусом, таким благородным и чистым, с его большим умом, моего профессора философии, человека весьма честного, безукоризненно искреннего, но лишенного чувства поэзии и искусства, я пренебрегал, к большому для себя вреду, его сухими, лишенными очарования уроками, не понимая их пользы. Впрочем, и все в коллеже делало для меня ученье ненавистным и жизнь—несносной. Никогда не мог

я привыкнуть к одуряющей системе наград и наказаний, которые принижают характер и извращают суждения. Я всегда думал, что вызывать такое соревнование значит возбуждать детей друг против друга; но, может быть, больше всего делала меня несчастным в школе позорная грязь столов и стен, ужасная смесь мела и чернил, превращавшая для меня класс в место отвратительное. Зимой, когда чугунная печка накалялась и распространяла тяжелый смрад, все мои чувства были оскорблены, и лишь преодолевая мучительное отвращение, постигал я красоту или славу, — Кассандру, поднимающую к небу пылающие очи, или триумф Павла Эмилия. Впоследствии мне пришлось снова изучить собственными силами, насколько хватило уменя, все то, чему меня так плохо учили в школе. В извинение своим учителям должен сказать, что я был мало приспособлен воспринимать общее обучение. Я был не менее развит, чем мои товарищи, может быть, даже больше, чем некоторые из них, но ум у меня был какой-то особенный. Некоторые вещи я понимал с силой и глубиной, для моих лет исключительными, зато другое, считавшееся легким, никак не мог усвоить. И первое не компенсировало второго. Наконец, я всегда был мягким, но ласковость моя была какой-то дикой, и с детских лет я жаждал одиночества. Мысль о лесной дорожке, о ручейке на лужайке, переполняла меня на школьной скамье экстазом, любовью, тоскливым желанием, доходившими до отчаяния.

Может быть, я заболел бы от тоски в этом ужасном коллеже, если бы меня не спасал один дар, сохраненный

мною на всю жизнь,—дар видеть смешное. Мои профессора, Кроттю, Брар и Боссье, своими смешными чертами и пороками превращались для меня в персонажей комедии. Сами того не зная, они были для меня Мольерами. Они спасли меня от смертельной скуки, и я глубоко им за это признателен.

Весьма своеобразные свойства моей памяти делали меня неспособным к общим занятиям. В противоположность моим товарищам, быстро заучивавшим и столь же быстро забывавшим, я усваивал медленно, но усвоенное сохранял очень долго, так что я выучивал все с запозданием. Как и все другие, эта моя особенность была для меня благодетельной, потому что она мешала мне готовиться к конкурсным экзаменам, которые губят умственные способности. В конце концов, ей обязан я, за отсутствием других качеств, хоть свежестью мыслей. Конечно, такая память совершенно не годилась для массового обучения, обращавшегося исключительно к памяти, именно к механической памяти, а не к памяти эстетической, к той божественной Мнемозине, которая есть мать Муз. Но будем осторожны: может быть, во мне говорит остаток досады на Фонтанэ, память которого, быстрая, как победы Цезаря, всепобеждающая, вызывающая, рождала во мне восхищение и зависть.

В шестнадцать лет я с грехом пополам сдал маленький экзамен на бакалавра, одинаково унижительный и для экзаменуемых, и для экзаминаторов. В то время различались бакалаврские экзамены по наукам и по литературе.

Я сдавал вторые. Они хуже первых, ибо можно спрашивать у мальчика, что такое пневматическая машина и чему равен квадрат гипотенузы, но спрашивать у юношей об их отношениях с геликонскими музами, это—отвратительная профанация. На демонстрацию наших знаний отводилось два дня. В первый день мы свидетельствовали о них письменно, во второй—устно.

Утром этого второго дня дорогая мама дала мне монету в сто су, чтобы я позавтракал на Сорбоннской площади и мог быть всегда наготове, когда меня вызовут. Так как душа у меня была тогда романтическая, я монету в сто су спрятал, а купил себе пшеничный хлебец и с'ел его, взобравшись на башню Нотр Дам. Там я царил над Парижем. Сена текла между крыш, куполов, колоколен и терялась в голубоватой дали. Под моими ногами были полторы тысячи лет славы, добродетелей, преступлений, страданий—необ'ятная тема для размышлений моего еще неоформившегося и неопытного ума. Не знаю, о чем я думал, но, когда я пришел в старую Сорбонну, моя очередь уже прошла. На памяти педеля ничего подобного никогда еще не случилось. Я принес повинную. Мне не поверили. Правда показалась слишком неправдоподобной. Меня записали в самом хвосте списка. Экзаминаторы устали и были угрюмы. Однако, все сошло благополучно. Меня спросили доказательство бытия божия, и я тотчас изложил это. Один из экзаминаторов, очень ученый человек по имени Аз, проявил больше остроумия, чем другие. Откинувшись на спинку стула, закинув ногу на ногу и поглаживая свою пышную

икру, он спросил меня, впадает ли Рона в озеро Онтарио. Я не посмел ответить: нет, боясь показаться невежливым, и молчал; а он попрекнул меня отсутствием мыслей в области географии.

Я отряс пыль от своих ног на пороге старой Сорбонны.

XIII

Как я сделался академиком.

Школьный год близился к концу. Для нас, учеников философского отделения, это был последний год в коллеже. В добрых душах к радости, что наступает, наконец, освобождение, присоединялась грусть от утраты старых привычек. Максим Дени, специалист по части латинских стихов и очень чувствительный, как-то сказал мне за большой переменной, под сенью акаций:

— Скоро мы вступим в обширный мир и рассеемся по нему; каждый пойдет своей дорогой. У нас завязались в коллеже дружеские связи,—не надо их терять. Дружба юности должна сохраняться на всю жизнь. Оставить ее за дверями коллежа, навсегда его покидая, значит утратить драгоценнейшее благо. Мы не совершим такой ошибки. Сейчас же по выходе из коллежа придумаем центр, где мы могли бы собираться. Что это будет,—клуб, кружок, общество, академия,—решайте вы, товарищи.

Это предложение было принято сочувственно. Его тотчас же обсудили и признали, что образование обще-

ства, кружка или клуба потребовало бы значительных средств, громадной организационной работы и знания законов, а всего этого наши риторы и философы дать не могли. Правда, Фонтанэ брался создать в три месяца первоклассный клуб, но его предложение, как ни было оно соблазнительно, было отвергнуто. Значительное большинство высказалось за академию, хотя и не представляли себе сколько-нибудь отчетливо, что это такое. Но соблазняло название.

После долгих и бестолковых дебатов Изамбар, ученик философского класса, предложил выработать устав. Предложение одобрили, но задача показалась неблагодарной, и никто не взял ее на себя. Пока что, удовольствовались решением, что академики будут избираться из учеников классов риторики и философии, и что заседания, созываемые через неопределенные промежутки времени, будут посвящаться приятному, но серьезному чтению и докладам.

Мы избрали двадцать академиков, сохранив за собою право в случае надобности увеличить это число. Я затруднился бы назвать теперь имена всех двадцати. Не будем этому удивляться,—существует, говорят, на свете знаменитая академия, в которой ни один член ее не в состоянии назвать имен всех сорока.

Как нам назвать нашу академию? Последовательно предлагались названия:

— Академия Друзей.

— Мольеровская Академия. Мы в ней будем ставить комедии.

- Фенелоновская Академия.
- Академия реторики и философии.
- Академия имени Шатобриана.

Фонтанэ проникновенным тоном заявил:

— Товарищи, один человек, одаренный гением слова в продолжение долгой своей жизни служил делу угнетенных. Почтим этот прекрасный пример и освятим нашу Академию именем Беррье.

Это предложение было встречено насмешками и свистками, не потому, конечно, чтобы крупный адвокат казался нам недостойным почестей, но все помнили, что Фонтанэ, метивший в адвокаты, самоуверенно надеялся затмить Беррье.

Максим Дени закричал:

— Уж лучше сразу назовем ее Академией Фонтанэ.

Лаборьетт выпалил:

— Я предлагаю: Французская Академия.

Ответом был дружный взрыв смеха. Лаборьетт не понял и рассердился, потому что был резкого нрава.

Ла-Бертельер, пользовавшийся авторитетом, сказал твердо:

— Поверьте мне, будет хорошо, если мы назовем ее Академией Блэза Паскаля.

Это предложение было принято единогласно и с восторгом.

У Академии было имя. Но у нее не было помещения.

Шазаль, любитель деревни, предложил для заседаний сарай у одного торговца сеном на улице Регар.

— Нам там будет очень удобно,—сказал он,—только нельзя будет зажигать света, чтобы не наделать пожара.

Это помещение, более привлекательное для крыс, чем для академиков, было забраковано. Фонтанэ предложил собираться в моей комнате, сообщив, что она—большая, хорошо вентилируется и выходит на лучшую набережную Парижа. Испугавшись, что мне придется приютить у себя целую академию, я клятвенно стал заверять, что то, что Фонтанэ называет моей комнатой,—только плохонькая комната для умыванья, где негде повернуться.

Мурон предложил мастерскую кружев, Изамбар—заднее помещение одной книжной лавки, Совиньи—квартиру своего дяди Мориса. Оставалось только узнать, предоставят ли нам эти помещения. На следующий же день квартира дяди Мориса, заднее помещение книжной лавки и мастерская кружев исчезли, как по волшебству. Они улетучились, как дворец Аладина от прикосновения палочки злого колдуна. Мы уже отчаялись найти помещение, но Совиньи взялся добыть нам комнату Тристана Дерэ. Тристан Дерэ—это тот самый товарищ, которого я так страстно любил в течение трех недель за его изящество и с которым разошелся за то, что он не принял меня в свою партию в игре в мяч. Его комната во втором этаже старого особняка на улице Сэн-Доминик была отделена от квартиры его семьи длинным коридором. Совиньи, видевший комнату, говорил, что она воликолепна. Дерэ играл в это время в городки, и, казалось, нельзя было к нему подступиться. Но Совиньи дерзнул заговорить с ним.

Если Дерэ был, с позволения сказать, сэн-сирец, то Совиньи почти уже принадлежал к экипажу «Бордо». Речи, которыми обменялись по сему поводу молодая армия и молодой флот, остались неизвестны потомству, только Совиньи, ростом крошка и гордостью Артабан, принес ответ, что Дерэ собственно наплевать на нашу академию имени Блэза Паскаля, но комнату свою он все-таки даст академикам охотно. Получив этот ответ, мы уполномочили Совиньи принести Дерэ благодарность академии. Я отказался присоединиться к этой благодарности; я не мог простить Дерэ того, что слишком его прежде любил. Я даже предложил, чтобы его не включали в нашу академию. Мои собратья в один голос ответили, что невозможно устранить из академии того, кто дает ей приют. Я предсказывал, что наше поселение на улице Сэн-Доминик поведет к гибели столь прекрасного учреждения. Это предсказание было внушено мне глубоким знанием характера моего бывшего кратковременного друга. Составили список членов академии, и во главе его было вписано имя Тристана Дерэ.

На Нуффлара и Фонтанэ было возложено поручение купить, в первый же свободный день, бюст Блэза Паскаля для залы наших заседаний.

Мурон был избран президентом. Было решено, что я произнесу речь на открытии. Этот почетный выбор льстил тщеславию моего сердца, дал мне испытать ту сладость славы, которой потом я уже не находил в ней. Я был на седьмом небе. В тот же вечер принялся я сочинять свою

речь, серьезную, но полную изящества. Я включил в нее много всяких украшений, добавлял их и в следующие дни. Отделял ее до последней минуты. Никогда ни одна речь не была еще в такой мере уснащена красотами. Я не оставил никакого простора увлечению, вольному, непри-
нужденному слову, простоте и естественности. Все в ней было тщательно подготовлено и изукрашено.

В назначенный день два наших делегата разыскали у одного лепщика на улице Расин гипсовый бюст Блэза Паскаля, больше натуральной величины, с мрачным лицом и угрюмо-задумчивым выражением, и велели его отослать на улицу Сэн-Доминик к г. Тристану Дерэ. У нашего учреждения обозначался уже дух важный, суровый, даже немного мрачный.

В назначенный для открытия вечер полил дождь, по улицам и тротуарам разливались целые потоки, вода выступала из сточных каналов. Бешеный ветер выворачивал зонты. Было так темно, что трудно было ходить. Я обеими своими руками прижимал к груди речь, спасая ее от наводнения. Наконец, я добрался до улицы Сэн-Доминик. Во втором этаже старый лакей отпер мне дверь и молча повел меня по длинному темному коридору, в конце которого я и нашел помещение академии. Пока пришли только три академика. Но где поместятся остальные? В комнате было всего два стула и кровать, на которой сидели рядом с нашим хозяином Дерэ,—Совиньи и Шазаль. На высоком шкапу с зеркалом стоял бюст Паскаля, единственное, что говорило душе в этой комнате, увешанной по всем стенам рапирами, шпагами, охотничьими ружьями.

Дерэ раздраженно сказал мне, показывая на бюст:

— Напрасно ты воображаешь, что очень весело смотреть, ложась спать, на эту идиотскую голову.

Через три четверти часа пришли еще два академика, затем еще один—Изамбар, Дени и Фонтанэ. Все полагали, что больше никто не придет.

— А Мурон, наш председатель?—воскликнул я с волнением оратора, видящего, как мала его аудитория.

— С ума ты сошел?—ответил Изамбар.—Ты хочешь, в такой дождь, в такой ветер выпустить на улицу чахоточного Мурона? Да это значило бы убить его.

Не ожидая более председателя, который бы предоставил мне слово, я решил взять его сам и начал чтение своей речи. Я знал, что она красива, хотя и не скрывал от себя, что она по тону не совсем соответствовала обстановке.

Я произнес:

— «Господа академики и дорогие товарищи! Вы оказали мне большую честь, возложив на меня поручение изложить руководившие вами намерения, когда вы создавали эту литературную и философскую академию, освященную именем великого Паскаля, чей образ шлет нам свою улыбку. Два намерения, вырвавшиеся, как два плодотворных потока, из сердца вашего и вашей мысли...»

Тут Дерэ, приветствовавший начало моей речи ироническими рукоплесканиями, воскликнул без стеснения:

— Слушай, Нозьер, долго ты будешь нас умерщвлять таким способом?..

Кое-кто запротестовал,—но как слабы были эти протесты! На Дерэ они произвели мало впечатления, и он продолжал оскорблять меня:

— Умерь свою латынь и заткни фонтан. Да вот, кстати, и чай к нам плывет.

В самом деле, вошла старая экономка с подносом и поставила его на стол. Когда она ушла, Дерэ с презрительной гримасой сказал:

— Это моя семья присылает чай.

И лукаво засмеялся:

— У меня есть кое-что получше!

Он достал из шкапа бутылку рома и сказал, что сейчас приготовит пунш, но так как чаши нет, то он сделает его в тазу.

Он так и поступил: влил ром в таз, положил сахару, погасил лампу и зажег пунш.

Я решил, что нужно отказаться от чтения речи, продолжения которой никто не требовал, и это жестоко меня оскорбило.

Академики танцевали вокруг пунша, держась за руки, и в этом хороводе Фонтанэ и Совиньи, похожие на двух дьявольских гномов, пугали своим неистовством. Вдруг кто-то закричал:

— Смотрите на бюст, смотрите на бюст!

Освещенный синеватым светом, бюст на шкапу казался зеленым,—он был страшен, ужасен. Он был похож на мертвеца, вышедшего из могилы. Зажгли лампу, и мы стали пить пунш полными чашками.

Дерэ, спокойный, уравновешенный, снял рапиры и спросил, кто хочет пофехтовать с ним.

— Я,—закричал Шазаль.

Никогда раньше не держав рапиры в руках, он напал бешено, испуская рычания, и сильно ударил Дерэ. Тот обозвал его животным, дикарем, бешеным зверем. Но этот мальчик ему нравился. Он предложил ему поднять на вытянутой руке стул за верхушку спинки и продержать горизонтально одну минуту. Шазаль принял вызов и выиграл пари. Это преисполнило Дерэ уважением к нему. Оба они любили показывать свою силу.

— Поборемся,—сказал Дерэ.

— С удовольствием,—ответил Шазаль.

Они оба обнажились до пояса и схватились друг с другом. Шазаль, костистый, смуглый, топорно сложенный, представлял собою полную противоположность Дерэ, который был сложен, как атлет Миррона или юноша из Кембриджа или Итона. Всегда хладнокровный, он безупречно владел собою; а милый Шазаль, не знавший никаких правил, доверчиво поддаваясь всем хитростям противника, наносил с полной наивностью недозволенные удары. Так, он обеими руками обхватил голову Дерэ и заставил его, несмотря на его возмущенные протесты, лечь на обе лопатки.

— Ты дисквалифицируешь себя,—кричал ему Дерэ,—захват шеи—предательство.

— Может быть,—ответил мужиковатый Шазаль с наивной улыбкой,—но ты всетаки побежден.

Дерэ неумеренно подливал пунш. Он достал карты и стал играть с Совиньи в карты. В припадке внезапного безумия академики оскорбили и того самого Паскаля, которого выбрали своим покровителем. Они стали его носить. Фонтанэ вытащил из какого-то шкапа ботинки и стал швырять ими в бюст. Дерэ, продолжая играть в карты, причем сильно проигрывал, заметил это и попросил Фонтанэ оставить в покое его башмаки:

— А насчет бюста,—добавил он,—ты сделаешь мне большое одолжение, если вообще избавишь меня от него.

Остервенелый Фонтанэ не заставил дважды просить об этом. Он встал на стул и, схватив Блэза Паскаля за подставку, до которой только и мог достать, сбросил его на пол; бюст со страшным шумом разбился вдребезги. Академия закричала «ура!» в честь иконоборца. Шум и кутерьма достигли апогея, когда на пороге вновь появилась экономка, раньше приносившая чай, и сказала своему юному хозяину:

— Ваш отец просит немедленно удалить ваших гостей, потому что они производят после полуночи недозволительный шум.

Дерэ, несмотря на всю свою отвагу, ничего не возразил, и его молчание потрясло нас. Мы немедленно вышли на улицу, где нас снова ждали ветер и дождь.

Академия Блэза Паскаля больше не собиралась.

XIV.

Последний день в коллеже.

Наконец, наступил и мой последний день в коллеже.

Мои родители, думая, что поступают правильно, не избавили меня от философии, но я воспользовался ею далеко не так, как они думали. Не обладая особенным развитием, я все же находил ту философию, которой меня обучали, до того глупой, нелепой, абсурдной, вздорной, что не верил ни одной из устанавливаемых ею истин, которые нужно исповедывать и осуществлять, если хочешь слыть честным человеком и добрым гражданином.

Был последний день школьного года. Большинство учеников уезжали на два месяца; несколько человек, самых счастливых, уходили, как я, навсегда.

Все увязывали свои книги, чтобы забрать с собой; я бросил свои в коллеже.

Наш профессор не давал урока. Он прочел нам о раздаче орлов из «Консульства и Империи» Тьера. Так университет, для завершения моего образования, познакомил меня с худшим писателем на французском языке.

Меня сильно печалила мысль, что я уже не буду каждый день видеть Мурона. С затаенным волнением пожал я его маленькую горячую руку. Я был в том возрасте, когда самая благородная чувствительность кажется недостойною мужчины слабостью. Так как рассчитывать для наших встреч на академию больше не приходилось, мы дали обет встречаться у наших родителей.

В коллеже я почти постоянно был очень несчастен, и потому от разлуки с ним я ждал большой радости. Но когда я вышел из него, чтобы уже никогда не возвращаться, я почувствовал разочарование. Радость моя была не так велика и не так ясна, как я себе это рисовал. Виною тому была моя слабая и робкая натура; и еще это было следствием той отвратительной дисциплины, которая, воздействуя с детства и до юности на все мысли и на все движения учеников, делает их неспособными наслаждаться свободой. Даже я, каждый вечер освобождавшийся от гнета школьного надзора, чувствовал это. Что же должны были чувствовать пансионеры училища, никогда не выходившие из своей тюрьмы? Общее воспитание, как оно поставлено еще и теперь, не только не подготавливает ученика к той жизни, которая его ожидает, но делает его настолько же к ней неприспособленным, насколько покорна и послушна его душа. Дисциплина, которая установлена для маленьких школьников, становится мучительной и унижительной, когда ей подчиняют юношей семнадцати и восемнадцати лет. Ум притупляется. Он извращается системою наказаний и наград, не соответствующей тому, что ждет в жизни, где сами поступки таят в себе свои хорошие и дурные последствия. И когда выходишь из коллежа, испытываешь смущение перед необходимостью действовать, страх перед свободой.

Все это я смутно чувствовал; и мое счастье было этим омрачено.

Выбор карьеры.

Приходилось выбирать себе поприще, и не откладывая. Родители были недостаточно богаты, чтобы я мог долго оставаться бременем на их плечах. Мысль о будущем тревожила меня. Я сразу почувствовал, что не легко мне будет найти себе место в обществе, где нужно работать локтями, чтобы продвигаться вперед; этого искусства я не знал.

Я замечал, что я непохож на других, сам не зная, хуже я или лучше, и это пугало меня. Наконец, меня больно поразило, что родители оставляют меня без своих советов и указаний, словно не видя такого рода деятельности, который был бы для меня подходящим. Я спросил мнения Фонтанэ, который уже записался на юридический факультет. Он посоветовал мне избрать адвокатуру, хотя и был уверен, что мне не преуспеть в ней так, как преуспеет он. Конечно, обладая хорошо привешенным языком, нахватавшись всего понемножку из газет, он был уверен, что сумеет делать адвокатское дело не хуже всякого другого. Сначала адвокатура мне как будто улыбалась. Я любил красноречие. Я говорил себе: я буду талантливо защищать какую-нибудь молодую вдову и она в меня влюбится. Ибо у меня все сводилось к любви.

Чтобы нащупать почву, я отправился с Фонтанэ в факультет. Я страстно любил древности и достопримечательности своего города—и я почтительно вдыхал пыль ученой горы.

В конце улицы Суффло мы вышли на красивую площадь, справа и слева охваченную могучими фасадами мэрии и Школы Правоведения и увенчанную величественным Пантеоном с его куполом, образующим такую великолепную кривую. Налево у нас была библиотека св. Женеви́евы, с покрытыми надписями стенами, не столько похожая на здание, посвященное научным занятиям, сколько на громадный мавзолей в античном стиле. В глубине королевская церковь Сент-Этьен дю Мон пышно выставляла напоказ ювелирную тонкость своего фасада, а монастырь св. Женеви́евы— свои старые поврежденные временем стрельчатые своды. О, века! О, воспоминания! О, величественные памятники былых поколений!

Но Фонтанэ не был настроен глазеть на камни. Он толкнул меня в обширный амфитеатр, где профессор Деманжа читал римское право. Многочисленные студенты в глубоком молчании слушали его и так торопливо делали заметки, что, казалось, записывали все его слова.

— Отец Бюнье читает тот же курс,—сказал Фонтанэ,—но у него мало слушателей. Это скверный старикашка. Из носу у него всегда течет, и он забирает это в красный платок величиной в простыню. Лекции же Деманжа, как ты видишь, очень посещаются, их очень ценят.

Этот Деманжа мне совсем не понравился. Голос его казался мне глухим, читка монотонной. Я был прав; но будь я сообразительнее, я понял бы, что студенты ценят именно эту размеренность и ясность его изложения.

Фонтанэ, сам не знавший отдыха и не дававший его другим, потащил меня без передышки из большой аудитории в залу, где кандидаты сдавали экзамены. Экзаминаторы держали себя торжественно, так, чтобы поражать воображение. Они заседали в своих мантиях за столом, покрытым зеленым сукном, спадавшим широкими складками. Их было трое, как и судей ада; своим величием они подавляли экзаменующегося, который становился словно меньше ростом, сплющивался.

Судья, занимавший середину стола, был толст, важен и грязен. Он как раз задавал вопрос, когда мы вошли в залу. Видимо, он заботился лишь о том, чтобы проявить свое могущество и вызвать страх. Вопросам своим он придавал внушительную торжественность, иногда облакал их предательской туманностью, на подобие Сфинкса, и изрыгал их голосом быка, на который экзаменующийся отвечал слабым и дрожащим шопотом. После него заговорил судья, сидевший справа. Он был маленького роста, худой, зеленый, как попугай, и говорил резким голосом, шедшим из верхней части головы. Было совершенно очевидно, что он ведет экзамен не столько для того, чтобы испытать знания экзаменующегося, сколько для того, чтобы колоть сарказмами своего толстого собрата, на которого постоянно намекал, не называя его, и чинно обменивался с ним ядовитыми взглядами. Трое экзаминаторов ненавидели один другого, и не знали другой ненависти. Довольные тем, что заставили дрожать экзаменующегося, они пропустили его, и все совершилось без слез и скрежета зубов.

В довершение мы пошли посмотреть на экзамен на медицинском факультете. Тут было совсем по-иному. Экзаменирующийся, уже с брюшком и лысый, был, повидимому, не слишком юн. Он неуверенно водил скальпелем по лежавшему перед ним трупчику маленького старичка, а труп точно подсмеивался над ним. Профессор с военными усами сидел, развалившись в кресле, и спрашивал студента:

— Ну-с, так как же будет с этой железой? Получу я ответ сегодня или завтра?

Ответа не последовало. Два его ассистента писали письма или правили корректуры. Один был в шляпе необычайной формы и чрезвычайных размеров, отделанной мехом, более похожей на польскую шапку, чем на шляпу.

Фонтанэ объяснил мне, что это—модель головного убора, зарисованная в 1792 г. Луи Давидом и хранившаяся в факультетской витрине, но что этот профессор потребовал ее себе у служителя тоном, не допускавшим возражений.

Экзаминатор, подняв ноги выше головы, опять спросил:

— Так как же будет с этой железой?

На этот раз он получил ответ:

— Она атрофировалась.

Профессор сказал, что это—вина трупа, и придется трупчику поставить плохой балл.

И всетаки, несмотря на распущенность и небрежность профессоров, этот экзамен произвел на меня впечатление большей серьезности, чем экзамен по праву, на котором мы перед тем присутствовали, и достоинство самой науки заслоняло смешные стороны дела.

Я вышел из экзаменационной залы со смутным желанием сделаться медиком. Правда, желание это было не настолько сильно, чтобы побудить меня приступить к долгим и трудным занятиям, к которым я был совсем не подготовлен. Боясь, что и я, как тот толстый студент, не сумею, на исходе своей юности, отыскать железу в шее насмешливого трупа, я отбросил этот план, едва лишь он у меня возник.

Впоследствии я часто жалел, что не осуществил его. Я не знаю ничего прекраснее жизни Клода Бернара, и знаю сельских врачей, жизнь которых вызывает во мне зависть своей полнотою и добротою. Мой отец служил своей профессии с неуклонным рвением, но он не желал ее для меня.

За обедом я решил избрать право; но оставшись один у себя в комнате, среди ночной тишины, я со всей ясностью увидал, что природа отказала мне в драгоценном даре красноречия, что я не умел во всю жизнь с'imпровизировать несколько слов, и что если есть для меня что-нибудь, совершенно невозможное, так это именно произнести судебную речь. Считая, по целому ряду оснований, что я не сделаюсь ни адвокатом, ни судьей, ни нотариусом, я был вынужден признать, что мои занятия правом потребовали бы от моей семьи бесполезных жертв. И я отказался от изучения Институций Юстиниана и Кодекса Наполеона. И тут же пожалел, что не готовился к Сэн-Сирской школе. Мне казалось прекрасным быть офицером, конечно—при непременно условии, что это—офицер в стиле Альфреда де-Виньи, великодушный и печально-задумчивый. Я с увле-

чением читал «Военное рабство и величие» и с восхищением представлял себе, как я иду по двору казармы медленными шагами, с сердцем самоотверженным и готовым на всякую жертву, при этом затянутый в изящный мундир. За полковым обедом приходит известие, что объявлена война. К ней готовились с сосредоточенным спокойствием и с той решимостью, которую Давид умел придать лицам Леонида и его трехсот спартанцев. Мы выступаем. Я еду верхом со своими людьми: дорога бежит под нашими ногами, мелькают без конца поля, деревни, леса, скалы, реки. Вдруг мы сталкиваемся с неприятелем. Я дерусь без ненависти. Мы взяли пленных. Я обращаюсь с ними человеком и слежу за тем, чтобы за раненым неприятелем ухаживали так же хорошо, как и за нашими. После второй стычки, которая была ужасна, меня на поле сражения награждают орденом. Сказать правду, я был красивым офицером. Меня с несколькими товарищам поместили в замке, высившемся среди лесов; там жила одна графиня, чрезвычайно красивая. Ее муж генерал, но он груб, и она не любит его. Мы полюбили друг друга, любовью мучительной и чарующей. Неприятель побежден, и с тех пор весь мир становится мне дорогим.

Однако, на следующее утро на меня напало сомнение, нарисовал ли я себе военную жизнь во всей ее правде.

Фонтанэ пришел ко мне очень рано и стал говорить со мной с тем видом превосходства, с которым никогда более уже не расставался. Он предупредил меня, что записаться нужно безотлагательно, и что он сегодня же отве-

дет меня в секретариат факультета, где его знают. Я попросил его ничего не предпринимать, сказал, что отказываюсь от права, объяснил и причину.

Он ничего не хотел слушать и уверял меня, что нужна лишь небольшая практика—и я заговорю в суде не хуже всякого другого: для этого не требуется никаких особенных способностей. Он часто бывал в суде, он знает одного адвоката, у которого почти полное ослабление памяти, и он всетаки очень хорошо говорит, пользуясь заметками на клочке бумаги величиною с ладонь. Он слышал также одного адвоката-заику, с заплетающимся языком, который к тому же вдруг начинал лаять по-собачьи,—а все же этот адвокат очень удачно вел трудный процесс и выиграл его.

— Не говорю,—добавил Фонтанэ,—что ты особенно одарен для адвокатуры. Но упорная работа творит чудеса. *Labor improbus*, как говорил Кроттю, упрекавший тебя в лени. Нужно упражняться, вот и все. Да вот, давай попробуем сейчас же. Я дам тебе несколько советов, и ты сам будешь поражен результатами.

Я имел несчастье своим слишком резким ответом дать ему понять, что такого рода упражнение мне неприятно. Он уже подозревал это, а когда убедился,—пришел в неистовство. Он расставил в беспорядке стол, стулья, даже кровать—все это должно было изобразить суд,—швырял книги, спутал все бумаги, опрокинул чернильницу, пролил на ковер ведро с водой и, с силою втолкнув меня между стеной и разгромленным умывальником, повелительно крикнул:

— Оставайся там. Это решетка. Ты защитник, я судья. Ты заговоришь, когда я предоставлю тебе слово.

Он был страшен.

Я каждый день поражался, с какой легкостью нахожу я неподходящие мне профессии. Никто не мог бы сравниться со мной в этом деле. Так, я считал прекрасным быть инженером, направлять, при помощи прикладной математики, работы по сооружению мостов, шоссе, машин и быть душою тысяч рабочих. Инженеры пользовались тогда в обществе уважением; позднее они не сумели его полностью сохранить. Тогда их было не так много, как теперь, и зарабатывали они больше. В комедиях, шедших в Одеоне, молодой инженер на балу дирижировал котильоном, волновал девицы сердца и делал блестящую партию. Увы! Бифуркация, направившая меня в сторону словесности, закрыла для меня карьеру в области наук. Прощай, шоссе, мосты, рудники и блестящая партия!

Приходилось искать другой дороги.

Дипломатическая карьера привлекала меня тем уважением, каким она окружена; мне улыбалась возможность сделаться посланником и быть представителем своей страны при иноземном дворе. Я лелеял эти честолюбивые мечты, но лишь для того, чтобы самого же себя поднять на смех; потому что, должен вам сказать,—очень склонный во все возрасты своей жизни к насмешке, ни над кем не насмехался я так жестоко и с таким наслаждением, как над самим собою. Чтобы быть верным правилу, что шутка не должна заходить слишком далеко, я понизил себя до ранга

консула и выбрал себе Неаполь, где нанял виллу, всю увитую виноградом, на берегу голубого моря.

Несколько времени спустя я пошел к Мурону, Мурону канареечное семя, жившему с матерью и сестрами в хорошенькой квартирке на улице Сэн-Пэр. У него я застал мужиковатого Шазалья, который оброс шершавой бородой. С удовольствием пожал я горячую ручку Мурона и похожую на прачешный валёк руку Шазалья. Шазаль был в Париже проездом и очень торопился назад в Солонь, где руководил сельско-хозяйственными работами. Я открыл этим друзьям ту муку, какую причинял мне выбор социального положения.

Мурон спросил меня, не подумывал ли я о том, чтобы сделаться чиновником, в частности—министерства финансов, где, пожалуй, можно бы при способностях, а особенно при протекции, получить место инспектора. Он советовал мне постучаться в эту дверь. Так как я обещал, что попробую, он предупредил меня, что принимают туда по конкурсу, но что экзамен не очень трудный; его двоюродный брат сдал его без особого труда: кажется, требуется уметь считать, знать французский язык и иметь хороший почерк.

— Советую тебе,—прибавил он,—обратиться к некоему Дюплёйе, специально занимающемуся подготовкой к этим экзаменам, человеку еще молодому, решительному и прямому. К нему обращаются все, собирающиеся служить по финансам. Живет он на Алжирской улице, номер не то 7, не то 9.

Шазаль был против того, чтобы запереться в министерстве.

— Какая тебе необходимость,—говорил он мне,—засаживать себя в тюрьму? Лучше делай как я, обрабатывай землю. Жизнь хороша только в деревне. Там много работают, но чувствуют себя хорошо. Поверь мне, займись разведением скота. Не может быть ничего интереснее этого. Находишься у самых источников жизни. В полевых работах есть что-то опьяняющее. Мне пришлось заняться изучением варьяций растений. Не можешь себе представить, что я обнаружил. Я наблюдал, как вдруг совершались самые невероятные изменения и закреплялись из поколения в поколение. Поверишь ли! Я видел, как боярышник терял свои шипы и давал цветы в сто раз больше размером, когда его пересаживали на жирную землю. Уверяю тебя!

Он был в экстазе. Он был еще более дикий и более сильный, чем когда-либо раньше. Он становился все крепче, в то время как Мурон все худел и хирел, но я был в таком возрасте, когда несчастий еще не предвидят.

На следующий день я проник в маленькую квартиру в первом этаже на Алжирской улице, где Дюплэйэ давал уроки. Он расспросил меня о моих родителях, стал сразу очень развязан и довольно холоден и сказал, что мне придется работать вместе с сыном одного крупного чиновника Империи, с молодым Фабио Фальконом, который также готовится к конкурсному экзамену в министерство финансов. У Дюплэйэ только финансами и занимались, и он гораздо больше походил на заведующего деловой конторой,

чем на готовящего к экзаменам. Я брал уроки недели две, в продолжение которых Дюплейэ не подавал мне никакой надежды на успех, зато всегда выражал полную уверенность в успехе Фалькона, хотя тот считал не лучше меня, составлял письма куда хуже и имел кошачий почерк.

Пораздумав, я понял, на чем основывал Дюплейэ свои предположения, и был ему признателен за его откровенность. Я перестал брать бесполезные уроки. Позже я узнал, что поступил совершенно правильно и не пошел на экзамен, имевший единственным назначением без лишних фраз устранять кандидатов, не имевших достаточной протекции.

Я продолжал, подобно Жерому Патюро, искать себе положения. Я не мог решиться последовать советам милого Шазаля. Я любил деревню, любил трепетно, истомно, со сладким волнением. Я был предназначен к тому, чтобы любить лишь ее. Там предстояло мне провести лучшие годы своей жизни. Но этому не пришел еще срок. Я не соглашался безвозвратно покинуть город искусства и красоты, покинуть камни, которые поют. И потом, у меня было очень серьезное основание к тому, чтобы не обрабатывать землю: у меня не было земли. Но если я не мог стать земледельцем, то, наученный опытом умерять свои желания, я готов был быть купцом. Меня склоняло к этому то, что я прочитал в нескольких английских романах XVIII века про купцов, имевших довольно красивый вид в своих одеждах из красного или каштанового цвета сукна, с их амбарами, полными ящиков и тюков. Во Французском театре, в одной пьесе Седэна, я видел очень достойного негоцианта, вед-

шего широкий образ жизни и носившего у себя дома великолепный халат. И в подлинной жизни встречал я негоциантов с очень хорошим видом. Итак, решив стать купцом, вернее—приказчиком, так как у меня не было ни своих товаров, ни денег на их покупку, я стал выбирать род торговли. Тут-то и начались затруднения. Как выбрать из стольких торговых дел, не зная ни их выгодных сторон, ни их неудобств? С адресной книгой в руках, я спрашивал себя, не сделаться ли мне оружейником, ювелиром, пивоваром, угольщиком, медником, цементщиком, башмачником, мраморщиком, механиком, столяром, оптиком, аптекарем,—и не мог дать ответа.

Сказать откровенно, мое затруднение уменьшалось от того, что я заранее чувствовал себя одинаково неспособным торговать как оружием или бриллиантами, так и пивом, углем, медью, цементом, башмаками или очками. Эта мысль облегчала мое положение, избавляя от необходимости выбора, но приводила в отчаяние.

Я был выведен из этих затруднений, когда меньше всего того ожидал. Это случилось в субботу, в четыре часа двадцать минут. Гуляя по набережной Конференции, в ту пору бывшей куда более деревенской, пустынной и красивой, чем теперь, я встретился с г. Луи де-Роншаном, приехавшим из Терн, где у него была небольшая квартирка, набитая книгами и гравюрами. Я очень его любил, но бывал у него редко, боясь, что беседа со мной не может его интересовать.

Может быть, кое-кто еще помнит этого прелестного человека. Луи де-Роншан оставил нам стихи, свидетельствующие о красоте его души, и несколько весьма ценных работ по греческому искусству, которое он любил восторженно и мудро. Ламартин, с которым он был в дружбе, посвятил ему один из номеров своего «Курса литературы». В те времена, к которым возвращают меня эти воспоминания, г. де-Роншан был уже не молод, но еще и не стар.

Кто его хорошо знал, согласится, что старым он не был ни в какую пору своей долгой жизни, потому что он никогда не переставал любить. Несколько золотых нитей еще виднелись в выцветших прядях его волос. Тонкая кожа на лбу была всех оттенков розового цвета. Усы утратили былую яркость. Он с изяществом носил старомодный фрак, весь в пятнах и сильно потертый. Голос его был теплый, дикция немного тяжелая, но она нравилась и привлекала. Он с увлечением стал говорить мне об одной римской мозаике, которую только что нашли в Ламбессе и с которой он получил акварельную копию. Затем он заговорил об Империи, падение которой предсказал и призывал, обсуждал с интересом какую-то новую книгу, наделавшую шума, и уже стал было уходить, но вдруг передумал:

— Я хотел попросить вас побывать у меня,—сказал он,—мне надо с вами поговорить. Я с несколькими друзьями выпускаем у одного крупного издателя биографии художников, ряд выпусков, которые должны заменить работу Шарля Блана, которая оказалась сейчас уже недостаточной.

Мы берем на себя большое дело. Вы окажете нам большую услугу, если возьмете на себя собирать материал, держать корректуру, в случае надобности сотрудничать, словом, быть для нашего издания тем, что в журнале делает секретарь редакции. Работа будет большая, ежедневная, но она вас заинтересует. Жалованье на это издателем установлено, и у него есть рабочий кабинет для вас.

Три дня спустя я уже исполнял очень приятную должность, которая, если и не могла занять всю мою жизнь, во всяком случае могла доставить мне другие работы, отвечавшие моим вкусам. Я засел у крупного книгопродавца в Сэн-Жерменском предместьи в кабинете, украшенном прекрасными снимками с «Саскьи», «Лавинии» и «Человека с разорванной перчаткой».

XVI

Э н г р.

Я страстно любил искусство. Так как мне нужно было лишь перейти Сену, чтобы попасть в Лувр, я ходил туда почти ежедневно, и могу сказать, что моя юность была вскормлена в блестящем дворце. В одном должен я отдать справедливость моим учителям,—они дали мне понять греческий гений, хотя сами его и не понимали. Долгие часы проводил я в музее Кампана, только что устроенном, и в залах греческих ваз, которые называли также этрусскими вазами. Изучая украшавшую их живопись, я почувствовал

вкус к прекрасной форме, и таким путем, сам того не замечая, подошел к пониманию Энгра. Нельзя сказать, чтобы Энгр вернул нам античный рисунок. Он к этому и не стремился. Его приемы принадлежат его времени, но в греческих произведениях есть вкус, которого не находишь ни у кого другого, кроме Энгра. Двадцатилетняя душа богата разнообразными увлечениями. Я восхищался Делакруа. Часовня ангелов в Сэн-Сюльписе очаровывала меня; и когда говорили, что стенная живопись требует меньшего рельефа и большего спокойствия, я думал, что это прекрасное безумие—включить в пространство двадцати квадратных футов великолепные колоннады, лошадей, ангелов, горы, ветвистые деревья, освещенные дали, небо. Благодарю богов я оценил Делакруа. Но Энгр внушал мне чувство более сильное: любовь. Я знал, что его искусство—слишком высоко, чтобы быть общедоступным, и я был рад, что постиг его. Только любовь творит такие чудеса. Я понимал этот рисунок, достигающий совершенной красоты путем верного следования натуре, я любил эту живопись, самую чувственную и самую сладострастную из всех, но сочетающую это с великолепной строгостью. Энгр жил в двухстах шагах от моего дома, на набережной Вольтера. Я знал его в лицо. Ему было свыше восьмидесяти лет. Старость, которая для существ обыкновенных есть упадок, для гениев—апофеоз. Когда я встречал его, я видел его в сопровождении его лучших творений и был взволнован.

Я был в театре Шатлэ, где в первый раз давали «Волшебную Флейту» с Кристиной Нильсон. У меня было кресло

в партере. Задолго до поднятия занавеса зала была уже полна. Я увидел, что г. Энгр приближается ко мне. Это был он, с его головой быка, с его все еще черными и острыми глазами, небольшого роста, с толстой шеей. Все знали, что он любит музыку. С улыбкой говорили об его скрипке. Я понял, что, имея свободный вход в театр, он и сегодня зашел таким образом, и тщетно искал свободного места. Я собирался уже предложить ему свое, но не успел.

— Молодой человек,—сказал он,—уступите мне ваше место, я—Энгр.

Я встал весь сияющий. Величественный старец оказал мне честь—выбрал меня, чтобы я уступил ему место.

Есть еще один художник французской школы, воспринявший нечто из античной красоты. Это Пуссен. Он классичен в композиции, в позах и стиле фигур. Но лишь один Энгр передал нам в своем рисунке языческий сенсуализм. Он приблизился к древним не путем недостоверных средств археологии, но полетом гения.

XVII

Квартира г. Дюбуа.

Г. Дюбуа был словесником устрашающей мощи. Ничто не могло сравниться с его суровой точностью в отношении смысла и соотношения выражений. Впрочем, к орфографии он был довольно равнодушен и сам не очень уж точно ей

следовал. Он говорил, что не понимает, как можно тратить драгоценное время на такие пустяки. Грамматику Ноэля и Шапсаля он называл грамматикой военного штаба и говорил, что ее навязала ненасытная тирания Наполеона, который, подвизаясь одинаково в области и деяний и идей, преследовал всякую независимость мысли. И когда моя мать говорила при этом старике о правиле касательно употребления причастий, бывшем предметом ее постоянных тревог, он ошеломлял ее ответом: что о причастиях он хочет знать не больше, чем знали Паскаль и Расин, а они не знали о них ничего.

Литературный вкус г. Дюбуа сковывал меня почтением и страхом.

Он был классик, но обладал большим критическим чувством и философским подходом, который определял его суждения. Он находил больше ума в Сент-Эвремонне, чем в Паскале. Боссюэт, по его мнению, выражал маленькие мысли тяжеловесным стилем. Его «Рассуждение о всемирной истории» так же глупо, как «История» Павла Орозия, с которой оно списано.

— Корнель, — говорил он, — не может нравиться душе мудрой, потому что им восхищался Наполеон. Право, его трагедия «Орас» отдает бойней.

Г. Дюбуа считал «Дух законов» и «Опыт о нравах» двумя прекраснейшими памятниками человеческой мысли. Ему нравились трагедии Вольтера, несмотря на слабость их стиля. Подлинные поэты, по его мнению, были только у греков и римлян. Из них он особенно наслаждался Фео-

критом или Католом и всегда носил в кармане их томики маленького формата, отлично отпечатанные,—ибо он был библиофилом.

Он знал наизусть Virgilia и рассказывал, что как-то раз вместе с генералом Миолли они читали вслух четвертую книгу «Энеиды», и оба плакали навзрыд. Рифма делала для него современный стих нестерпимым. Он находил ее варварством, пригодным лишь для того, чтобы поддерживать слабое внимание грубых и невежественных людей и тешить неразвитое ухо подчеркиванием каденций. Он высказывал догадку, что это правильное чередование тех же звуков в начале было средством мнемотехническим для существ, которые по непривычке с трудом заучивали стихи наизусть. Все это не мешало ему весьма наслаждаться стихами Лафонтэна, Вольтера и Парни. Ими он и ограничивался, совершенно игнорируя поэтов романтических. Из современной прозы он знал лишь политическую и историческую. «Загробные мемуары», плохо принятые публикою, особенно не нравились г. Дюбуа, и он ставил Шатобриану в упрек напыщенность слога и пустоту мысли.

Столь строгий вкус с трудом передается другому. Впрочем, у людей обыкновенных вкус складывается поздно и лишь путем долгого, иногда тяжелого опыта. Вкус, который есть чувство приятного, утончается в страдании. Глубокий старик, заинтересовавшийся мною, едва я вышел из детских лет, не научил меня хорошему языку, но внушил мне любовь к изобразительным искусствам и пламенный энтузиазм к красоте.

Г. Дюбуа, как все археологи его времени, знал греческую скульптуру преимущественно по произведениям римской эпохи. Он не был лишен чувства величия и простоты, но слишком поздно увидал мраморы Парфенона, и Лаокоон оставался для него совершенным выражением прекрасного.

Предприняв путешествие по Италии, когда туда еще почти не ездили, и бывая у художников своего времени, он без больших затрат составил себе кабинет редкостей и наслаждался ими тихо и сосредоточенно. Но так как в этом мире непременно нужно, чтобы каждая радость была испорчена, его экономка нарушала тишину его спокойного и украшенного искусствами домашнего очага. Клоринда «выпивала». И г. Дюбуа, хоть и очень скрытный, как-то раз вечером признался моей матери, что однажды нашел Клоринду мертвецки пьяной в загоревшейся кухне. Я удивлялся, почему он ее не прогонит, но мать это, видимо, не так удивляло.

Время от времени, когда он бывал доволен моими успехами, он говорил мне:

— Дитя мое, я покажу тебе мою античную скульптуру и несколько кусочков живописи, каких теперь больше уже не создают, потому что у нас все заполонили варвары. Теперь больше не умеют рисовать.

Варварами он называл Кутюра, Конье, Девериа, особенно же Делакруа, который приводил его в ужас. Он не понимал его. Он не все понимал. Но кто из нас может гордиться тем, что понимает все?

Приглашая меня к себе, г. Дюбуа оказывал мне большую честь, и честь редкую. Он жил со своей старой экономкой, без родных, без друзей, и никого у себя не принимал. Оттого сочинялись странные сказки о его жилище, в которое никто никогда не проникал. Квартира была во втором этаже, во дворе, в старом особняке на улице Сент-Анн. Г. Дюбуа жил там с детства.

„Родиться, жить и умереть все в том же доме“.

У г. Дюбуа была прелестная мать, он ее обожал. Она была красива, играла на арфе, как мадам де-Жанлис, рисовала цветы, как Ван-Спандонк. Когда она скоропостижно умерла, в 1815 г., говорят, сын оставил ее комнату неприкосновенной, с арфой, с раскрытым романсом на клавишине, с ящиком акварельных красок и с цветами в вазе, которые она начала рисовать, и которые затем были погребены под саваном сорокалетней пыли. Рассказывали, что в гостиной г. Дюбуа висит портрет напудренной дамы, руку которой закрывал букет роз, и думали, что это—портрет прабабки г. Дюбуа, написавшей на смертном одре своему отсутствующему сыну, что она проклинает его. Через шесть недель после того, как ее опустили в землю, раз утром увидели, что правая рука на портрете исчезла и заменена только что нарисованными розами. Решили, что это она сама явилась произвести такую замену, чтобы дать тем понять, что берет назад слова своего последнего письма. Было в этом доме несколько жертв Террора, и их гневные тени часто посещали корридоры и лестницы.

Время от времени г. Дюбуа повторял:

— Дитя мое, в один из ближайших дней ты должен прийти посмотреть мои древности.

Мой крестный, прекраснейший и добродушнейший человек, иногда подтрунивал над любовью г. Дюбуа к древностям. Он находил, что античность красива, но холодна, не говорит сердцу. Он, подобно Теофилю Готье, любил старые картины немецкой школы и итальянские примитивы.

Однажды, когда он расхваливал мастеров Кватроченто, г. Дюбуа согласился с ним.

— Я считаю Мантенью,—сказал он,—очень крупным мастером. Лет тридцать тому назад я нашел в Вероне «Христа в Гробу» этого художника, рисунок сильный, мощный. Превосходная работа.

И, повернувшись ко мне, он прибавил:

— Дитя мое, я должен показать тебе это.

На этот раз посещение мое было решено; мы условились, насколько помню, что я приду в четверг на Пасхе. Я надел свое лучшее платье, взял цилиндр, потому что в ту пору даже очень юные молодые люди не носили котелков. В половине второго я, в сильном волнении, вышел из дому.

Как только я очутился на тротуаре, я услышал хрип, напоминавший хрип Мелани, и увидел мать Кошлэ, сидевшую на ступеньке лестницы; она обхватила голову коленями и задыхалась. Она была поистине отвратительна; нарост, закрывавший ее правый глаз, стал теперь величиною в кулак, и из этого закрытого глаза текли по изма-

занной в земле щеке липкие и ржавые слезы. Грязный чепец и черная повязка, сбившиеся от кашля, открывали плешивый грязный череп. Толстые золотые серьги довершали безобразие. Проходя мимо нее, я имел слабость ускорить шаг и отвернуться. Задыхаясь, она грубым голосом позвала меня.

Я подошел. Она смотрела на меня своим большим гадким глазом:

— Маленький дружок мой, не правда ли, услышав, как я дышу, вы подумали: «это тюлень»,—потому что если бы вы подумали, что я—женщина, вы бы сняли шляпу и поклонились мне.

Она уронила голову на колени и снова начала сопеть.

Я покраснел, стал бормотать какие-то извинения и подал ей руку, чтобы помочь подняться по лестнице. Она грубо отказалась. Я ушел опечаленный и смущенный.

Но как только я вышел на улицу, свежий ветер, легкий воздух, улыбающееся небо наполнили меня радостью и забвением. Я любил мой большой город, и всегда в сердце носил словно миниатюрный образ его, который нежно обнимал; я любил мою царственную реку Сену, такую тихую, такую сдержанную в своем каменном уборе, с ее городской прелестью, я любил знаменитые и такие знакомые набережные, обсаженные правильными рядами платанов, со старыми особняками и дворцами. Эти прекрасные набережные были тогда повиты спокойствием и тишиною. В те времена не тревожила их величественности шумная пошлость трамваев. Я прошел чугунным мостом, охраняемым четырьмя

каменными женщинами, никогда не улыбавшимися, пересек двор Лувра, где высился, всеми своими камнями крича о нашей истории, Тюльерийский дворец, беспощадно сожженный, десять лет спустя, побежденными, затем скрытый с лица земли зловердными буржуа. Выйдя в калитку на лестнице и пройдя улицу Риволи, я углубился в лабиринт узких и путанных улиц, позднее исчезнувших под ударами заступа, и дошел до угла улиц Сэнт-Анн и Сэнт-Терез. Там с детства жил г. Дюбуа во втором этаже дома времен Людовика XV. Меня встретила Клоринда. Если она, как нужно полагать, и «пила», то это была пьяница страшно скрытая. За всю свою жизнь не видал я старухи более серьезной, спокойной, более чистой и более молчаливой. Уже с самого входа квартира г. Дюбуа выдавала любителя и знатока редкостей. Передняя была полна обломков римских статуй и саркофагов. В столовой были мраморы и красные вазы с черными фигурами, прекрасного греческого стиля, которые в ту пору звали еще этрусскими вазами. Г. Дюбуа показал мне, как драгоценнейшее сокровище своего кабинета, торс молодого фавна, со звериной шкурой на плече, из Пентеликосского мрамора. Он расхвалил мне его изящество, чистоту, простоту.

— Повреждение, нанесенное такому творению,—сказал он мне,—одно из тягчайших преступлений человечества. Но когда произведение достигает такой степени совершенства, вся его красота полностью живет в каждой из его частей. А в наших современных произведениях, если отнять у них выражение, то-есть гримасу, не остается ровно ничего.

И г. Дюбуа подробно развил свою мысль:

— В поэзии, в искусстве, в философии нужно возвращаться к древним. Почему? Потому что невозможно уже создать ничего прекрасного, хорошего, мудрого. Грекам было дано поднять искусство до совершенства. Это было привилегией хорошо одаренной расы, которая в прекрасном климате, под чистым небом, на земле с гармоничными очертаниями, у лазурного моря, культивировала свободные нравы.

Есть, дитя мое, у Геродота одна фраза, которую нужно хорошо запомнить. Старый историк влагает ее в уста спартанца Демарата, говорящего с Ксерксом: «О, царь, знай, что бедность—верная подруга Греции, добродетель сопровождает ее, дочь мудрости и хорошего управления». Греки (и это самая счастливая черта их гения) сделали человека мерою всех вещей и верили в справедливость богов, по крайней мере, в их снисходительность.

Г. Дюбуа показывал мне с нежной осторожностью картины и рисунки, привезенные им из Италии или когда-то собранные в Париже. Особенно обращал он мое внимание на мастеров, которых сам наиболее ценил,—на Гвидо, Карраччи, Спальонетто, Баттони, Рафаэля Менгса. Лохматые фигуры евангелистов и мучеников, тонущие в глубокой тени, навевали на меня печаль. Академические фигуры Давида, которые он очень расхваливал, не могли меня развеселить. Г. Дюбуа сам находил в Давиде грубость, но был ему признателен за то, что он порвал с дурным вкусом Буше, Фрагонара и Пьерра.

Хозяин провел меня в комнату, где на трюмо с потускневшими зеркалами целовались голуби. Было кое-что верное в слухах, ходивших об этой таинственной квартире; я увидел в этой комнате арфу с опустившимися струнами и на клавишине—свертки нот; я увидел на стене портрет напудренной дамы, с белой косынкой на плечах, при чем правая рука была скрыта под розами, которые, казалось, были подрисованы позднее, торопливою рукою. Но г. Дюбуа ограничился тем, что сказал, что мебель в этой комнате принадлежала еще его родителям.

Потом он показал мне комод Людовика XV, покрытый деревянной мозаикой и украшенный золоченой бронзой, золоченые кресла, обитые материей с пасторальными рисунками, угольники в стиле Бовэ, и прошептал с легкой усмешкой:

— Это мебель моей прабабки. Когда-то она причиняла мне много страданий. Ты знаешь, в эпоху Директории и Консульства произошла большая революция в искусстве. Вкус, уже начинавший очищаться в последние годы монархии, весь устремился к античности, и затейливость старого времени стала казаться смешной. Я жил тогда со своими родителями, я был молод, самолюбив, и мне было мучительно среди этих пережитков старины, а особенно тяжело было принимать друзей, среди которых были художники, ученики Давида, как он, всецело увлеченные греческим и римским стилем. Припоминаю, как-то я был представлен госпоже де Ноайль, которая по возвращении из эмиграции жила на Шоссэ д'Антэн в особняке, росписанном Давидом и

меблированном по рисункам Персье и Фонтэна. По стенам были разрисованы под бронзу секиры, шлемы, щиты, мечи и героические фризы. Ромул и Рем сосали волчицу, Брут обрекал на смерть сына, Виргиний убивал дочь... Уж не помню всего. Гости сидели в курульных креслах. Будуар был украшен живописью по красному фону, в подражание Геркуланским фрескам. Эти украшения, эта меблировка показались мне восхитительными. Не знаю, не увеличивала ли красота хозяйки, светлые волосы которой и мраморные плечи были действительно великолепны, моего восхищения стенами, по которым блуждал ее взор, сиденьями, на которых покоилось ее тело богини. Во всяком случае, я вышел из особняка госпожи де-Ноайль вне себя от восторга. И когда, вернувшись домой, я увидел опять пузатые комоды, кресла с кривыми ножками, обивку с ее пастушками и барашками,—я чуть не заплакал от досады и стыда и всячески старался доказать отцу, что все это старье комично, и что даже китайцы никогда не производили ничего более нелепого и смешного. Отец согласился: «Знаю, сказал он,—что теперь делают лучше, и что вкус стал тоньше. Если бы кто захотел обменять мне мои древности на мебель по рисункам господ Персье и Фонтэна,—что же, я был бы рад, но так как нет такого безумца, который бы произвел подобную мену, я удовлетворяюсь той мебелью, которою удовлетворялись мои родители; я не настолько молод и не настолько богат, чтобы меблировать квартиру по моде.

— Горьки мне были эти слова,—добавил г. Дюбуа,—и всетаки, видишь, друг мой, я сам сохранил эту мебель

моей прабабки, может быть, из скупости, может быть, из сыновней почтительности, может быть, по небрежности; и мне говорят, что в смысле хозяйственной экономии я был прав, даже сделал хорошее дело, так как эта мебель, когда-то так опороченная, потом опять стала нравиться, и теперь за нее платят довольно большие деньги.

Пока он говорил все это, я не отрывал глаз от маленького полотна в уголке. До сих пор я все видел стариков Гвидо или Карраччи, мучеников Рибейры, ужасного Элиазара, окруженного странными верблюдами, работы Баттони, Христа во гробу Мантеньи—произведение беспощадного совершенства. Признаюсь, для моих лет вид всего этого был слишком суров. И потому то, что я увидал в уголке, показалось мне особенно привлекательным. Это была прелестная головка, с красивым овалом, золотистыми волосами, фиалковыми глазами, с ласковым взглядом и юными, прелестными плечами.

— Как она хороша!—воскликнул я.

— Ты не узнаешь ее?.. Это «Психея» Жерара. Картина была выставлена в Салоне в 1786 г., а теперь она в Лувре. Это самое совершенное произведение художника, но этот этюд—много лучше, чем соответствующая часть картины. Какая разница между этой первой мыслью, столь счастливой, и ее осуществлением! Голова Психеи в законченном произведении, конечно, хороша по рисунку и тщательно выполнена, но несколько холодна, слишком прилизана, слишком выложена. В наброске же более свободное выполнение, более широкая манера, больше чувства, какой-то

тихий огонь, свежесть плоти, прелесть, которых нет в большой луврской картине. Есть также правда, уловлена и закреплена натура, есть жизнь. Натура вдохновила художника.

— Но модель не могла же быть так прекрасна, как картина!—воскликнул я.

— Она именно была так прекрасна. Жерар был превосходным портретистом, и выше всего он в своих портретах. А то, что ты тут видишь, дитя мое, это портрет, портрет не вполне законченный, но доведенный до того момента, когда, если обрабатывать его дальше, он только стал бы проигрывать. Могу тебя заверить, этот набросок очень верно передает натуру, не лгая ей... Знай, дитя мое, что лгала всегда—оскорбление и насилие над красотой. Натурщица, позировавшая для этой Психеи, долго славила в мастерских художников. Ее звали Селиной... Ты встретишь Селину на многих картинах эпохи первой империи. Она позировала Давиду, потом с ним рассорилась: он был груб, Селина была горда, и у нее был отвратительный характер. Она позировала Герэну, Жиродэ, барону Реньо, а позднее—Эрсэну. Вместе с Маргаритой де-Прюдон это была прекраснейшая натурщица той эпохи. Маргарита дышала сладострастием. Селина была более хрупкая, более тонкая, более изящная, волосы ее были богаче, цвет кожи ярче. В 1815 году Селина, хотя ее первая молодость уже миновала, пользовалась еще такой славой среди художников, что император Александр, когда был в Париже, пожелал ее видеть и дал ей на папильотки пачку петербургских бан-

ковых билетов. Говорят, герцогиня Ангулемская также очень хотела видеть Селину и сделала ей подарок. Я раз встретил ее в мастерской господина де-Форбэна; она была еще красива, но очень располнела. Это было сорок лет назад. Теперь она совсем старуха... если вообще еще жива.

Я покинул квартиру г. Дюбуа, с душой, полною видений, где причудливо переплетались времена, и очарованный тенью Селины. В течение многих дней она заслоняла мне весь мир, только ее я и видел. Я был безумен, а больше того—глуп.

XVIII

Нет такой прекрасной розы...

Я рассказал о г. Дюбуа, о Жераре, о Психее и Амуре Фонтанэ и Мурону, в Люксембургском саду. Они проявили полное равнодушие. Фонтанэ, зачислившийся в Школу Правоведения, не думал ни о чем, кроме Беррье, который должен был в нем воскреснуть. Мурон не отрывал своего прекрасного влажного взора от финикийской азбуки, с которой только что познакомился. Я поведал о красоте Селины статуе Веледы. Она высилась тогда, белая и задумчивая, в саду, где жужжали пчелы над цветущими кустами. Платаны нежно и протяжно шумели, коварный запах жасмина насыщал воздух, и все говорило о мимолетности часов и бренности вещей.

Несколько времени спустя, я отправился навестить Селину в Лувр, в императорский зал, где все, женщины

в красных шалях, раненые кирасиры, чумные больные в госпитале, возвращающийся к разоренному очагу изгнанник, божественное правосудие, преследующее преступление, Леонид и Сабинянки, герои и боги—все прославляет Наполеона и его век. В этой толпе, среди всей этой славы Селина показалась мне все еще очень красивой, но глаза ее утратили свою таинственность и не казались уже божественными цветами. Овал лица, несколько вытянутый, нравился меньше; менее гибкая шея не напоминала уже одновременно Венеру и ее голубей. И я подумал, что первая Селина, подлинная Селина—прелестнее. Расставшись с этой другой Селиной, я прошел в квадратный зал, где перед каждой знаменитой картиной торчал на своей табуретке художник. Много было среди них женщин. У одной были белокурые локоны, ослепительный цвет лица и гадкий рот, который она, при приближении посетителя, прикрывала рукой, принимая позу задумчивости. Наполовину скрытый в тени этой музыки, я узнал своего соседа и друга, г. Менажа, в двадцатый раз копировавшего «Прекрасную садовницу» Рафаэля.

Сомневаюсь, чтобы он когда-либо пил, как утверждал мой крестный, пламенный пунш из черепа. Но в начале карьеры он мечтал о богатстве и славе. Он думал, что его «Ядвига с лебединой шеей» привлечет очарованные толпы. Он был тогда неистов, был романтиком. Он был им больше из духа подражания, свойственного большинству людей, чем по собственной натуре, отличавшейся рассудительностью.

Он терпеть не мог Давида и его школу. Одно имя Жироде приводило его в ярость. Рафаэль и Энгр были ему глубоко ненавистны. И все таки вкус у него был широкий, ум открытый.

— Не надо думать,—говорил он,—что есть лишь одна хорошая манера рисовать и писать, все манеры хороши, если производят желательное действие.

Он также говорил:

— Прежде, чем судить о картине, поищите, чего хотел художник, и не осуждайте его за те жертвы, какие приходилось ему принести, чтобы лучше выразить свою мысль. Гений заключается больше всего в смелости приносить необходимые жертвы, как бы велики они ни были.

От его романтизма не осталось у него ничего, кроме шляпы а-ла Рубенс и широких панталон. Теперь, когда юность была уже на ущербе, когда он утратил уже свои иллюзии, он страдал от скудной жизни и жаловался, что обречен, для того, чтобы как-нибудь просуществовать, делать дурные и плохо оплачиваемые копии. И все-таки еще было в нем что-то радостное, то, что занятие искусством дает и наименее счастливым.

Он горько усмехнулся мне и сказал:

— А твоя мать, мой маленький Нозьер, не хочет, чтобы я сделал ее портрет? Постарайся ее убедить.

Несколько минут он писал молча. Потом показал кончиком своей кисти на копируемое полотно:

— Эта жаба (так он характеризовал Рафаэля) страшно старается скрыть свою работу. Нигде не видно отделки,

нигде не чувствуется рука. Это не живопись. Это лакировано, то проклеено, то эмалировано, но не писано. Можно писать лощено; Тициан и даже Рубенс очень часто писали так вылощено, но у них у всех есть сила. А тут ничто не обнаруживает воли, намерения. Китаец!.. Энгр тоже китаец. И они находят, что это прекрасно! Стадо кретинов!

Улучив момент, я, тоном знатока, заставившим его улыбнуться, объявил г. Менажу, что пришел посмотреть «Психею» Жерара, чтобы сравнить картину с наброском, который мне показали.

И не без развязности прибавил:

— Для Психеи позировала известная натурщица Селина.

— Может быть,—равнодушно пробормотал г. Менаж.

— Она была очень хороша?

— Говорят... Я не знал ее молодой.

— Она позировала Герэну, Жиродэ, а в последнее время Эрсэну.

— Словом, всем пожарным? Несчастливая!..

— Она еще жива?

— Да ты ее знаешь. Она живет в твоём же доме, в глубине коридора, где моя мастерская.

— Селина?

— Да, Селина, Селина Кошлэ...

— Да что вы говорите!.. Она, такая красивая... золотые волосы, фиалковые глаза...

— А, чорт возьми... Нет такой прекрасной розы...

XIX

Парадоксы г. Дюбуа

Г. Дюбуа нравилось дразнить мою мать. Раз он застал ее с книгой в руках. Это был трактат Николя, с которым она не расставалась, который как будто всегда читала, но которого на самом деле не читала никогда. Веря, что трактат очень хорош, она, может быть, надеялась, что кое-что из него всетаки усвоит, если будет всегда держать его в руках, в роде того, как излечивают колики, кладя молитву святой Екатерины себе на живот. Эта книга дала повод к разговору о морали, которую г. Дюбуа определил как науку о естественных законах или о вещах, которые хороши или дурны в человеческом обществе.

— Нравственность всегда одна и та же, — прибавил он, — потому что природа не меняется. Есть нравственность для животных и даже для растений, потому что и для них существует верность и неверность природе, а отсюда — благо и зло. Для волка нравственно пожирать баранов, как для барана нравственно — есть траву.

Мать, признававшая мораль только для людей, рассердилась.

Г. Дюбуа упрекнул ее за такую гордыню, не мирившуюся с тем, что животные и растения способны, подобно ей самой, к добру и злу. Она рекомендовала ему заняться составлением морали для волков и принципов для крапивы.

Зная, что она религиозна и набожна, г. Дюбуа любил читать ей речь, с которою нежная Заира обращается в Иерусалимском серале к Фатиме, своей наперснице:

Я слишком ясно вижу: с детских лет
Слагают чувства наши нравы, веру.
На Ганге ложных чтила б я богов,
В Париже я была бы христианкой,
И мусульманкой здесь...

Он только упрекал Заиру за то, что она называет ложными богами божества Индии, а сама, повидимому, считает их столь же подлинными, как всякие другие.

Во время холерной эпидемии, унесшей несколько человек из числа наших знакомых, мой отец, мать и г. Данкан как-то заговорили о смерти. Суждения моих родителей были правоверные, — вот все, что я могу о них сказать. Воззрения крестного были окрашены надеждою на то, что в ином мире его примет «бог добрых людей», которого ему открыл Беранже и в которого он верил с дружеской доверчивостью.

Находившийся при этом г. Дюбуа молчал и, повидимому, относился к разговору совершенно равнодушно. Но когда разговор кончился, он подошел к матери и сказал:

— Выслушайте мысли о смерти самого глубокого из римских поэтов. К сожалению, я не могу передать самого тона и гармонии. Слушайте: «Трогали ли нас волнения Рима в те века, что предшествовали нашему рождению, когда вся Африка двинулась, чтобы потрясти империю, когда шумом войны наполнился весь воздух, до самых далеких краев?

Ну, так вот, когда перестанем мы жить, совершенно так же не коснутся нас никакие события».

Г. Дюбуа раз спросил у госпожи Нозьер, какой самый плачевный день в истории. Госпожа Нозьер не знала.

— Это день битвы при Пуатье,—сказал г. Дюбуа,—когда, в 732 году, арабская наука, искусство и цивилизация отступили перед франкским варварством.

Г. Дюбуа совершенно не был похож на фанатика. Он никому не хотел навязывать своих мыслей. Скорее он был склонен хранить их для себя одного, как почетное отличие. Но он любил подразнить. И так как он питал к моей матери дружеские чувства, он особенно любил на ней упражнять свой дух противоречия. Дразнишь лишь тех, кого любишь. Меня удивляло, что такого пожилого человека это еще забавляет. Я не знал тогда, что с годами насколько не меняешься.

XX

Апология войны.

— Мои родители,—сказал г. Данкэн,—жили в Лионе, и я там родился. Я был еще совсем ребенком, когда отец в одно довольно холодное утро повел меня на набережную, куда стремилась громадная толпа рабочих, буржуа, женщин, и посадил меня к себе на плечи, чтобы я мог лучше видеть императора, возвращавшегося из Гренобля. Он шел один пешком по мосту через Рону. Впереди, более чем на сто

шагов, шел взвод кавалерии; штаб шел далеко позади. Я увидел его огромную голову, бледное лицо, серый сюртук, запахнутый на широкой груди. Он шел без орденов, без оружия, держа в руке ветку орешника, еще с листьями. При его приближении, на набережной, тысячи восклицаний слились в общий грандиозный гул. Это зрелище никогда не изгладится из моей памяти.

Г. Дюбуа, который был старше г. Данкэна, также помнил Наполеона. И тотчас же он сообщил и свои воспоминания.

— Я видел, я слышал этого необыкновенного человека, когда его судьба клонилась уже к упадку, в 1812 году, на другой день после его печальной победы под Москвой. В сопровождении нескольких генералов он обходил поле битвы, покрытое убитыми и ранеными, и, казалось, был еще во власти того оцепенения, которое сковало его накануне, во время боя. Легко раненый, я искал свою заблудившуюся часть и с удивлением увидел его приближение. В этот самый миг один гвардейский полковник сказал ему:

— Ваше величество, за валом больше всего врагов.

При этих словах лицо императора выразило невыносимое негодование, и он закричал страшным голосом:

— Что вы говорите, милостивый государь? На поле битвы нет врагов: есть только люди.

Я много раздумывал над этими словами и над тем тоном, каким они были сказаны. Не думаю, чтобы они выдавали в Наполеоне порыв человечности, но он хотел управлять чувствами и подчинять их политическому строю.

В 1855 году итальянская война вызвала столкновение Франции с Австрией. Бои, обогравшие кровью Ломбардию, сильно тревожили мою мать. С моих детских лет она боялась войн, которые могли бы отнять у нее сына.

Вот что сказал ей как-то в этом году г. Дюбуа; записываю его слова, как они сохранились в моей памяти.

— В юности моей один человек, Наполеон, сам решал вопросы мира и войны. К несчастью для Европы, он предпочитал войну, в руководстве которой проявлял большой талант. Война давала ему славу. До него, во все времена, короли любили войну. Подобно им, и люди Революции с неистовством предавались ей. Очень боюсь, что финансисты и крупные промышленники, понемногу становящиеся хозяевами Европы, окажутся не менее воинственными, чем короли и Наполеон. Они заинтересованы в этом и теми барышами, какие приносят им военные поставки, и тем ростом, какой война дает их делам. Воюющие всегда верят, что будут победителями: патриотизм делает преступным сомнение в этом. Почти всегда войну решает маленькая кучка людей. Поразительно, с какою легкостью эти люди увлекают народ. Те средства, которые издавна для этого пускаются в ход, всегда имеют успех. Припоминаются оскорбления, чинимые нации иностранцами, оскорбления, которые можно смыть только кровью, хотя, с точки зрения нравственности, жестокость и вероломство, неразлучные с войной, не только не прославляют совершающего их народа, но покрывают его бессмертным позором. Заставляют верить, что интерес родины требует поднять оружие, хотя родина

всегда выходит из войны разоренной, и война обогащает всегда только маленькую кучку людей. Даже и всего этого не для чего говорить: довольно ударить в барабаны, взмахнуть флагом, и восторженная толпа летит к резне и смерти. Сказать правду, большинство всюду очень охотно и с удовольствием воюет, потому что война избавляет от одуряющей скуки домашней жизни, обеспечивает вино и бросает навстречу приключениям. Получать жалованье, видеть чужие страны, покрыться славой,—вот что заставляет не бояться опасностей. Вернее сказать, люди обожают войну. Она дает им наивысшее удовлетворение, какое только могут они иметь в этом мире,—удовлетворение от убийства. Конечно, они и сами рискуют быть убитыми, но когда человек молод, он не верит в смерть, и опьянение убийством заставляет забывать о риске. Я сам участвовал в войне, и вы можете мне поверить, когда я вам говорю, что поражать, убивать врага для девяти человек из десяти—такое сладострастие, перед которым самые нежные об'ятия кажутся пресными. Сравните войну с миром. Мирные работы—затяжные, однообразные, часто мучительные, и не приносят славы большинству в них участвующих. А дела войны быстры, легки, доступны самым тупым умам. Даже от начальников не требуют они большого ума, тем более от солдата. Всякий может воевать. Это свойственно человеку.

Я уже говорил,—моя мать никогда ни в чем не соглашалась с г. Дюбуа. Она, как злейшего бича, боялась войны, ненавидимой всеми матерями. Но она не хотела бы, чтобы так говорили о войне. Она почти предпочитала рассужде-

ния г. Данкэна, который любил, чтобы французы несли в мир на конце своих штыков свободу, и поучал меня, что умереть за отечество—прекраснейший удел, наиболее завидный.

Мать на минутку задумалась. Потом, вспомнив песенку, которую когда-то пела над моей колыбелью, она стала еле слышно напевать:

Знаменит мой мальчик стал,
Скоро будет генерал!

.....

А пока, сынок, усни,
Генерал мой, крепко спи.

XXI

Размышления о счастье.

Раз утром Фонтанэ пришел ко мне и сказал, что хозяйка одного богатого и знатного дома, дававшая великолепные балы, на которые с'езжаются первые красавицы Парижа, и бывшая с ним в самых дружеских отношениях, просила его привести к ней на бал танцоров, и что он тотчас же подумал обо мне. Я ответил, что не умею танцевать. Это была правда, Фонтанэ это знал и передал мне приглашение только для того, чтобы насладиться таким моим ответом.

Несколько дней спустя, Фонтанэ сообщил мне, что берет уроки верховой езды в манеже и скоро поедет верхом в Булонский лес с несколькими товарищами. Он приглашал и меня ехать с ними на наемной лошади. Я любил верховую езду, но у меня не было денег. Я отказался. Фонтанэ, делая вид, что не понимает истинной причины моего отказа, сказал:

— Напрасно, тебе дали бы в манеже очень тихую лошадь, и ты мог бы ехать совершенно спокойно.

В это самое время я высмотрел у знаменитого Вернье, на бульваре Капюсэ, камышевую трость с набалдашником из лапис-лазури, и она вызвала во мне чувство, по нежности и силе сходное с любовью. Трость была так хороша! Но я был обречен на то, чтобы любоваться ею только чрез стекло витрины. Бульвар Капюсэ был в ту пору местом всего элегантного, и магазин Вернье был слишком роскошен, чтобы я посмел туда войти.

Я был далеко не красивый юноша, а что хуже всего—я был лишен смелости. Это вредило мне у женщин. Я безумно любил тех, которые были красивы, я хочу сказать—тех, которые имели вид настоящих женщин, и то волнение, какое они во мне вызывали, лишало меня возле них всех способностей, так что мне оставалось лишь общество дурнушек, внушавших мне отвращение. Я считал высшим грехом для женщины—не быть красивой. Я замечал, что в свете часто юноши, много хуже меня, нравились больше и имели успех. Это не утешало меня, но я был уже настолько благодарен, чтобы этому не удивляться.

Вот при таких обстоятельствах и узнал я, что природа и судьба не благоприятствуют мне. И первым моим побуждением было—сокрушаться об этом. Я всегда думал, что единственно благоразумное занятие—искать удовольствий, и если я в самом деле, как мне казалось, мало одарен для того, чтобы преуспеть в поисках их, я, как тростник у Лафонтэна, имею все основания винить природу. Но скоро я сделал открытие большой важности: не трудно заметить, счастлив человек или несчастлив. Радость и скорбь меньше всего скрываешь, особенно в юности. А я, после немногих наблюдений, заметил, что мои товарищи, более меня красивые и удачливые, вовсе не более счастливы, и даже, присмотревшись ближе, я заметил, что жизнь давала мне такое удовлетворение, в каком им было отказано. Это мне доказывали их сухой и скучный разговор, их встревоженный и озабоченный вид. Я был весел, они—нет. Моя мысль неслась свободно и легко, их—грузно падала. Отсюда я заключил, что кроме моих недостатков в моей натуре, или в моем положении, очевидно, все же имеется что то хорошее, и оно уравнивает мои плохие качества. Начав с наблюдения над различием в характерах, я заметил, что у моих товарищей страсти бурные, тогда как у меня—тихие, и что они от своих страдают, я же своими наслаждаюсь. Они были завистливы, склонны к ненависти, честолюбивы. Я был снисходителен и кроток. Не думайте, что я поэтому считал себя лучше их. Бывают бурные страсти, которые создают великих людей; материала для великого человека во мне не было. Но не об этом

речь. Я хочу только показать, каким путем я понял, что мои страсти, весьма отличные от страстей большинства людей, позволяли мне наслаждаться миром и своего рода счастьем. Гораздо больше времени мне понадобилось, чтобы убедиться, что мое положение, невыгоды которого были слишком ясны, давало и преимущества, вознаграждавшие за эти невыгоды. Я говорю о положении среднем, каким было мое, а вовсе не о нужде, которая ломает и самых сильных. Недостаток денег лишал меня множества приятных вещей, — их не всегда умеют ценить те, которые ими обладают, — но меня они привлекали. Желание, конечно, мучит, иногда — жестоко. Но после долгих наблюдений я понял, что желание делает более прекрасными те предметы, на которые опускаются его пламенные крылья, что удовлетворение чаще всего разочаровывает и разрушает иллюзию, а лишь она — подлинное благо человека. Удовлетворение убивает желание, а лишь желание составляет очарование жизни. Все мои желания были направлены на красоту, и я заметил, что эта жажда красоты, испытываемая лишь очень немногими и всегда мною владевшая, есть бьющий родник наслаждения и радости. Эти мои открытия, делавшиеся мною последовательно одно за другим, имели для меня неизмеримую ценность. Они убедили меня, что моя натура и мое положение не препятствуют мне стремиться к счастью.

Но мой слишком юный возраст, мой слишком короткий опыт и замкнутая жизнь не позволяли мне разглядеть, что такое судьба и ее удары, — судьба, торжествующая над

самыми сильными характерами и мгновенно меняющая положение людей:

Пока не пробил смерти час, Фиванец,
Ты никому завидовать не должен.
Счастливым не зови того, кто жизнь не кончил,—
Неведом никому удар судьбы последний.

Первый пример изменчивости судьбы, какой я видел, отнюдь не отличался трагическим характером, но все же я расскажу его здесь, потому что на меня он произвел впечатление очень сильное. Вот как был дан мне этот урок.

Как-то раз в кафе на улице Суффло, где я ждал Фонтанэ, я узнал за соседним столиком Жозефа Вернье, того молодого аэронавта, который шесть лет тому назад делал доклад в Гренелле, под рукоплескания многочисленной публики.

Два члена Института сидели тогда на эстраде по обе стороны докладчика, дама в зеленом подала ему корзину с цветами. Он был бледен, как Бонапарт, и я благородно завидовал его славе и оказываемым ему почестям. Теперь Жозеф Вернье писал письмо за столиком кафе, жуя сигару в один су. Белье на нем было грязное, куртка поношенная, штаны потертые, ботинки стоптаны, лицо возбужденное, рука дрожала. Как, это был тот самый юный герой, которому я завидовал и которому хотел подражать? Увы, куда делись два члена Французского Института, дама в зеленом, восторженная толпа с цветами, с приветствен-

ными кликами? Как только появился Фонтанэ, я тихо сказал ему, кто наш сосед, и какими полетами он прославился.

— Жозеф Вернье? Я с ним знаком,—уверенно ответил Фонтанэ.

Для меня было несомненно, что он даже не знал его имени, в первый раз видит.

Однако, едва только Жозеф Вернье перестал писать, Фонтанэ повернулся к нему, поклонился и спросил, когда он снова полетит.

— Я больше не поднимаюсь на воздушном шаре,—ответил воздухоплаватель усталым голосом.—Я не могу добыть нужных средств, чтобы построить аппарат. Они не понимают, какие большие преимущества у формы моего шара. Придираются к моему винту, находят, что он слишком слаб. Но ведь нужно же сохранить ему легкость. Меня оттеснили в сторону. Теперь все—за Надару и Тиссандье. Я только что написал письмо министру, но на него не будет ответа, как не было и на предыдущие письма...

Он сделал жест, точно хотел прогнать угнетавшую его заботу, опустил голову и умолкнул.

Я не мог тогда решить, обладал ли Жозеф Вернье талантом, был ли у него характер, обеспечивающий успех,—я видел в нем несчастного, которому изменила судьба. Это зрелище, для меня новое, наполнило меня печалью и волнением.

Мой крестный.

Данкэны жили в старом доме на улице Сэнт-Андрэ-дэз-Ар, где во времена Лиги жил Пьер Д'Эстуаль. Они жили безбедно, детей у них не было. Эти прелестные люди около 1858 г. приняли к себе сына и дочь несчастного брата госпожи Данкэн, молодых Бондуа, Марту и Клавдия, родившихся и воспитанных в Лионе, миниатюрных, изящных с удивленными лицами. Госпожа Данкэн с подлинно материнским чувством полюбила молодых Бондуа, как родных детей. Брат и сестра всегда были неразлучны, как бывают сироты и изгнанники.

Тучная и хвора, но от природы веселая, госпожа Данкэн всю свою неутомимую работоспособность отдавала заботам по дому. Чтобы оживить его, она старалась привлечь к нему всю молодежь из числа своих знакомых. В качестве крестника г. Данкэна, я часто приглашался к обеду и на вечера. Г. Данкэн посвящал искусству хорошо пожить все то время, которое у него было свободно от занятий палеонтологией. В голове у него была целая гастрономическая карта Франции, где ничего не было забыто — ни шартрские, амиенские или страсбургские паштеты, ни труасские колбаски, ни манские каплуны, ни турецкие ребрышки, ни котатэнский барашек.

Как и у всех добрых парижских буржуа того времени, у него был хороший погреб, и он ухаживал за своими винами с мудрой бдительностью. Этот почтенный человек не счи-

тал ниже своего достоинства самому покупать дыни, ибо, утверждал он, женщина неспособна отличить спелую канталупу от недозрелой или перезрелой. И обеды на улице Сэнт-Андрэ-дэз-Ар были великолепны. Часто приглашались на них мои отец и мать, а также госпожи Жирэ и Деларш с их двумя дочерьми, очень хорошенькими, мадмуазель Геррье, ученица Консерватории, доктор Ренодэн, умевший быть веселым и в то же время мрачным, госпожа Гоблэн, старуха-миниатюристка, очень образованная, ученица госпожи Мирбэль, с дочерью Филиппиной, худой, неуклюжей, с жидкими волосами, маленькими глазками, длинным кривым носом, овальной или яйцеподобной пуговкой на кончике, большим ртом, добрым выражением лица, без румянца, с плоской грудью и острыми коленями. Руки у нее были некрасивы, непомерно длинны и всегда, неизвестно почему, непомерно открыты. Во всяком случае, надо думать не из кокетства, потому что она сама говорила, что природа, по неловкости или рассеянности, сделала верхнюю часть руки у нее толще нижней. Она была добродушная, хохотунья, меланхоличная, насмешливая, нежная, остроумная и такая оживленная, такая разнообразная, такая меняющаяся, что одна представляла как бы целый хоровод длинных девушек, безумный хоровод мадмуазелей Гоблэн, при чем одни из этих девушек были почти хорошенькие, другие очень безобразные, но все симпатичные и в высшей степени занимательные. Мадмуазель Гоблэн жила и помогала жить матери, рисуя детские портреты и с покорностью наблюдала, как грязная рука фотографа, жившего на крыше

их дома в стеклянной клетке, отнимает у них всех их заказчиков. Трудолюбивая так, что и вообразить себе нельзя, она знала четыре или пять языков, прочла бесконечное количество книг и была довольно хорошей музыкантшей.

Мой крестный сам разрезал жаркое и раскладывал по тарелкам своих гостей — старый обычай, которому когда-то следовали в лучших домах. Его держался князь де-Таллейран, почитавшийся образцовым амфитрионом. Он сам нарезал мясо и, передавая каждому кусок, соизмерял любезность, с которой его передавал, с рангом гостя. Г. Амедей Пишо, основатель «Британского Обозрения», рассказывает, как великий канцлер раздавал мясо князьям и герцогам, со словами, что для него будет великою честью, если его угощение будет ими принято, людям более или менее видным — просто с просьбою принять мясо, наконец, остальным сидящим за столом на последних местах, — только постукивая по столу ручкой ножа и спрашивая их: «мяса?» Г. Данкэн, сын Революции, не подозревал, что повторяет прием былых важных сеньоров, сам нарезая куски.

При своих распределениях он считался не столько с рангом, сколько с аппетитом. Он накладывал двойные куски проголодавшимся и непременно подливал ложку крови в тарелку хворым и выздоравливающим. Со всеми чрезвычайно любезный и щедрый, лучшие куски он посылал мадмуазель Элиз Геррье, которой отдавал еле уловимое, но определенное предпочтение. Он выискивал для нее в телячьем огузке кусочек почки и в жареной свинине — самый поджаренный ломтик, и глаза его смеялись из-под золотых очков.

Чтобы лучше выступило все благородство и, вообще, весь характер обхождения моего крестного с мадмуазель Элиз Геррье, лауреаткой Консерватории, воспроизведу здесь то, что г. де-Куртэн писал в Париже в начале XVIII века в своем «Новом Трактате о вежливости, господствующей во Франции среди людей порядочного общества».

«Так как бочок филе всегда особенно нежен, он и ценится особенно. Что касается телячьего огузка, то он обычно разрезается посредине, в самом мясистом месте, и почка считается особенно изысканным прибавлением».

Г. де-Куртэн добавляет, что в «молочном поросенке самые большие лакомки особенно ценят кожу и уши».

Я говорю о кулинарных предпочтениях, оказывавшихся моим крестным мадмуазель Элиз Геррье, без какой-либо зависти. Зависть в этом случае была бы совершенно неприличной и свидетельствовала бы о недобром сердце, так как крестный, справедливо подозревая, что я безмерно люблю пирожное, посылал мне громадные порции сладкого пирога и сдобных лепешек.

Если по поводу этих дорогих моему детству обедов я вспоминаю о великолепной сервировке у какого-нибудь Камбасерэса или Талейрана и о столе герцога де-Шеврёз, где г. де-Куртэн почерпнул свои ценные сведения, то только из любви к традиции и из желания отыскать преемственность в быстрой смене поколений. На самом же деле стол г. Данкэна был очень скромен и свидетельствовал о мудрой простоте нравов буржуазии в последние годы конституционной монархии и в первые годы Империи. Добрая госпожа

Данкэн поддерживала скромный обиход. У них была лишь одна служанка. Обеды были обильны и продолжительны ¹⁾. Иногда на них присутствовал дядя Данкэн, восьмидесяти-девяти-летний старик. Его просили за десертом что-нибудь спеть. Он вставал и невнятно сюсюкал застольную песенку Дезожье:

Наливайте еще...

После обеда переходили в гостиную, большую комнату, обставленную по стенам шкапами с ископаемыми, скеле-

¹⁾ Сейчас богатые классы демократической Европы на своих званых обедах проявляют больше церемонности и меньше изящества, чем аристократы старого режима. Мой крестный, слишком мелкий буржуа, чтобы подражать богачам своего времени, вышедшим из Революции и Империи, на обедах, которые он давал, обнаруживал больше изящества, чем это могло показаться с первого взгляда, и это напоминало старые времена. Прочтите эту страницу, написанную после эмиграции женщиной, долгое время бывшей близкой к Палэ-Роялю, госпожей де-Жанлис. По ней видно, что старое дворянство было в некоторых отношениях менее жеманно, чем наша буржуазия.

„Когда шли к столу, хозяин дома отнюдь не бросался к самой важной даме, чтобы увлечь ее в глубину комнаты, торжественно провести ее перед всеми другими дамами и посадить за стол рядом с собой. Другие мужчины вовсе не бросались к дамам, чтобы предложить им руку... Этот обычай был тогда в ходу только в провинциальных городах. Сначала все дамы выходили из гостиной, и те, которые были поближе к дверям, выходили первые; они обменивались любезностями, но очень короткими, отнюдь не задерживавшими общего движения... Затем шли мужчины. Когда все были в столовой, усаживались за стол, где кто хотел“ (Жанлис, V, 101).

тами пресмыкающихся и рыб, слепками с ракообразных, животными-растениями, насекомыми и просто растениями, окаменелостями, челюстями больших пресмыкающихся, клыками мамонтов. Мой крестный занимаясь палеонтологией со страстью, какую трудно было подозревать в этом маленьком, совсем кругленьком человечке, всегда жизнерадостном, носившем такие прекрасные жилеты и так весело позвякивавшем своими брелоками на толстом животе.

Раз вечером, пока молодежь готовилась к танцам, он с гордостью показал мадмуазель Гоблэн и мне, двум главным умникам общества, слепок человеческой челюсти, который только что ему прислал из Аббевилля его друг Буше де-Перт. Он рассматривал этот памятник далекого прошлого, и глаза у него сверкали из под золотых очков. И вдруг этот спокойный человек заговорил с возбуждением:

— Они утверждают: «Ископаемый человек не существует». Им показывают наконечники стрел, высеченные из кремня, дощечки из слоновой кости и шифера, на которых он выцарапал изображения животных, а они ничего не слышат, ничего не видят, и все повторяют: «Ископаемый человек не существует». Нет, милостивые государи, он существует, вот он!

Эти нагоняи относились к ученикам Кювье, преобладавшим в Институте. Моего бедного крестного сильно оскорбляли официальные ученые, и он от этого страдал, не зная, что человек поднимается к славе не иначе, как по грудам обид, и что для того, кто мыслит и действует, дурной признак, если его не унижают, не оскорбляют, не

угрожают ему. Он недостаточно убедился на опыте, что во все времена те, которые прославили свою страну своим гением или своими доблестями, подвергались оскорблениям, преследованию, заточению, изгнанию, иногда—смерти. Этого рода рассуждения были ему чужды.

— Ископаемый человек существует,—повторял он,—и вот он!

И он торжествующим жестом поднимал челюсть, найденную Буше де-Пертом в Мулэн-Киньоне, уверенный, что стоит лишь ее показать, и враги будут посрамлены. Ибо у него была душа простая, и он верил в силу истины, тогда как сильна лишь ложь и овладевает она людскою мыслью силою своих чар, своим разнообразием и своим умением развлекать, льстить и утешать. Г. Данкэн рассматривал, ощупывал челюсть.

— Она—совсем как у животного,—сказал он,—но это, несомненно, человеческая челюсть.

— Крестный, когда жил этот человек?

— Кто может на это ответить? Он жил... двести... триста тысяч лет назад... может быть, и того больше. А земля и тогда была уже изрядно стара.

Г. Данкэн обвел глазами, вооруженными очками, шкапы и, сделав широкий жест, насколько это было ему доступно, прибавил:

— Земля!... Когда жил этот человек, она уже произвела несчетное количество поколений растений и животных. На ее груди вымерли породы мадрепор, моллюсков, рыб, рептилий, амфибий, птиц, сумчатых, млекопитающих. Да, она

была уже очень стара! Эпоха гигантских ящеров давно уже миновала. Исчез мастодонт, некоторые остатки которого вы тут видите.

Филиппина Гоблэн взяла в руку сгнивший конец клыка и продекламировала проникновенным тоном стихи из «Каина» лорда Байрона, вызывающие в воспоминании эти давние царства, целиком ушедшие в бездны смерти еще до того, как родился человек.

... And those enormous creatures...

And tusks projecting like the trees stripp'd of
Their bark and branches...

— «И эти гигантские творения, эти призраки... они походят на диких обитателей этой земли, на наиболее громадных среди них, которые по ночам режут в лесных чащах, но они в десять раз страшнее и больше... Их клыки торчат точно деревья с ободранной корой... Остатки этих чудищ мириадами лежат в недрах земли, и ни одно не живет на ее поверхности».

Слушая эти слова поэта, теперь забытого, но чей голос тогда еще не потерял своего воздействия на сердца, я почувствовал сладостное отчаяние при мысли о безднах смерти, которые, поглотив эти несчетные поколения чудовищ и столько разных флор и фаун, готовы сомкнуться и над нашими цветами, и над нами самими. И жизнь человеческая показалась мне такой краткой, что это делает тщетными все наши желания, все надежды и усилия, но зато освобождает нас от всякого страха, от всякого страдания.

Нас позвала госпожа Данкэн:

— Ну же, Пьер, приглашайте Марту танцевать.

Доктор Ренодэн подошел и пригласил мадмуазель Гоблэн; она быстро поставила ископаемую слоновую кость в витрину и сказала, натягивая перчатки:

— Пойдемте, покажем нашу грацию.

XXIII

Отступления.

Как-то раз я читал у себя в комнате Виргилия. Я любил его еще в коллеже. Но с тех пор, как профессора перестали мне его объяснять, я стал лучше его понимать, и ничто больше не отравляло мне его красоты. Я с увлечением читал шестую эклогу. Моя гадкая комната исчезла, я был в гроте, где заснувший Силен обронил свой венок. Рядом с юным Хромисом, юным Мназилом и Эглэ, прекраснейшей из наяд, слушал я старца, испачканного кровью тутовых ягод, и под его песни в такт прыгали фавны и дикие звери, и дубы покачивали своими гордыми вершинами. Он рассказывал о том, как в великой пустоте соединились семена земли, воздуха и моря, как жидкий шар стал отвердевать, замкнул Нереея в океан и понемногу стал сам принимать формы вещей; он говорил, как земля удивилась, увидав сияние нового солнца, и как дожди падали с высоких облаков. Тогда впервые начали расти леса, и редкие звери стали бродить по неведомым горам. Еще говорил он

о камнях, брошенных Пиррой, о царстве Сатурна, о птицах Кавказа и о похищении, совершенном Прометеем.

В тот день я дальше не последовал за Силеном. Я восхищался этой глубокой философией природы под радужным покровом поэзии. Проникнув в эти глубокие прорения о начале земли, как можно выносить восточные космогонии и их варварские сказки? Виргилий влагает в уста своего Силена язык Лукреция и александрийских греков. И слагается таким образом представление о происхождении земли, неожиданно согласное с современной наукой. Теперь многие полагают, что солнце, накалившееся до очень высокой температуры, распространяло свою громадную сферу за орбиту Нептуна, затем, сокращаясь под действием охлаждения, оно время от времени оставляло в пространстве, им освобождаемом, кольца из своего вещества, а те, в свою очередь, сокращаясь и разрываясь, образовывали планеты солнечной системы. Так, полагают, образовалась земля, сначала бесформенная и жидкая, затем постепенно охладившаяся. После тяжких дождей из расплавленных металлов, насыщавших ее раскаленную атмосферу, упала с высоты облаков вода благотворных дождей. Как раз это и говорит старый Силен. Сначала весь земной шар был покрыт теплым и неглубоким морем. Из него поднялись материки. Наконец, сквозь воздух, свежий и чистый, стало видно солнце. Травы и гигантские папоротники покрыли вершины гор. Родятся животные, и последним среди них родится человек. Так в те незапамятные времена совершилась судьба, обрекая землю быть вечной обителью

преступления. Растения, высасывая своими корнями соки земли, питались ими; одни лишь безвинные среди всех существ, они сами образовывали свое живое вещество, с чудесным инстинктом очищая материалы безжизненные, по крайней мере, не организованные, потому что ни о чем в мире нельзя сказать: это лишено жизни. Родились растения, могли родиться животные.

Rara per ignatos errant animalia montes.

Первые животные, жалкие, без спинного хребта и без мозга, жили, пожирая травы в лесу. Так животная жизнь началась с убийства. О, я хорошо знаю, никогда не говорят, что дерево убито, а между тем надо бы так говорить, потому что оно, ведь, было живое. Чувствует ли оно? Это отрицают. Утверждают, что у него нет органов, чтобы чувствовать, что оно не индивидуум и не может сознавать себя. Но если даже, вопреки тому, во что верю я, оно лишено способности чувствовать, оно тем не менее живое, и погубить его значит отнять у него жизнь, — все равно, что погубить животное.

Между тем, виды животных, развиваясь один из другого, становились все умнее и сильнее. У них появились мозг и нервы, которые дали им самосознание и привели в общение с внешним миром. Одни питались травами, но большинство пожидало мясо животных, принадлежавших к менее сильным, чем они, породам или к менее быстрым. Жалкое состояние несчастных обитателей лесов и гор не ограничи-

валось тем, что существование их было подчинено голоду и болезням, обречено смерти, — это существование протекало в сплошном страхе врага и страхе смерти, которая представлялась им, несмотря на всю их грубость, ужасной. Человек явился последним животным, родственным всем другим и близким к некоторым из них. Выражения, которыми его еще и сейчас обозначают, указывают на его происхождение. Его зовут земнородным и смертным. Какие имена лучше подходят для диких животных, которые, подобно ему, живут на земле и подвержены смерти? Человек неизмеримо умнее, чем его братья, но его ум — не какой-либо иной природы. Он выше их всех, но в нем нет ничего такого, чего бы не было и в них. И всем им он равен тем, что, подобно им, подчинен необходимости, чтобы жить самому — умерщвлять других; закон убийства тяготеет над ним, как и над другими, и он сделал из него существо жестокое. Он плотояден; чтобы ему не было стыдно убивать своих братьев, он отрицает, что они его братья, он похвывается более высоким происхождением, но все указывает на его родство с животными; он рождается так же, как и они, он питается как и они, размножается как они, и как они — умирает. Подобно им, подчинен он закону убийства, обязательному для всех обитателей земли. Своим несравненным умом пользуется он для того, чтобы подчинить себе животных, которые ему нужны. И хотя у него теперь есть отличные стойла, охота остается его излюбленным занятием. Она была высшим удовольствием королей, и теперь еще остается им. Человек предается убийству с опьяне-

нием, какого не испытывают другие животные. Как и дикие звери, которые не едят себе подобных, он воздерживается пожирать человеческое мясо. Но он убивает себе подобных, чего не делают другие животные, если не для того, чтобы их с'есть, то, по крайней мере, для того, чтобы отнять у них какое-нибудь благо, которого он пожелал, чтобы помешать им наслаждаться их благами, наконец, ради одного удовольствия убивать. Это зовется войной, и люди ведут ее со сладострастием. Несомненно, они не подумали бы совершать это страшное преступление, если бы необходимость убивать животных, не подготовила их к этому. Так решила судьба: от начала жизни и до сей поры земля обречена на убийство и будет подчинена этой обреченности до тех пор, пока жизнь не уйдет с нее. Убивать, чтобы жить, — это будет вечным законом.

Я думал об этой обязанности, которой никто из нас не может избежать. Солнце село, я распахнул окно, увидел, как зажглись первые звезды, и подумал с ужасом, что судьба этого мира — не только его судьба, но, может быть, является, во всей своей жестокости, и судьбою мириад, мириад миров, и что в беспредельности пространства, всюду, где есть живые существа, может быть, они поставлены под власть все того же закона, которому подчинены мы. Населены ли другие миры? Единственные планеты, какие мы видим, какие когда-либо сможем увидеть, — это планеты нашей системы. Они — наши сестры, они, как и мы, дочери солнца. Но родились они не одновременно с нами, и поме-

щены не на том же расстоянии от дающего жизнь светила. Одни, может быть, слишком еще молоды, чтобы рождать, другие — слишком стары. Есть такие, которые окружены густой атмосферой, повидимому — удушающею; другие, — слишком разреженным воздухом, которым не могли бы дышать подобные нам существа; те, что видим мы по ту сторону солнца, занимают пространства холодные и мрачные. Однако, мы не можем сказать, что эти звезды никогда не носили на своей поверхности существ, не носят, никогда не будут носить. Для такого утверждения мы слишком плохо знаем условия, в которых может возникать жизнь. О, если бы эти сестры земли дали жизнь существам, менее несчастным, чем мы! Но каждое солнце, которое мы видим, как огненную точку в даях эфирных пространств, — не ведет ли оно за собою свиты планет, и нет ли на этих планетах обитателей? Думаем, что есть, потому что мы знаем, что все почти солнца состоят из той же материи, и мы судим о тех далеких звездах по тому солнцу, которое нас освещает.

Рассуждая здраво, если все миры, будучи того же состава, что и наш, населены или были населены, или будут, если эти обитатели подчинены тем же законам, что управляют и нашим миром, — зло достигает предела, оно охватывает бесконечность, и человеку мудрому остается либо бежать из жизни, либо смеяться над таким забавным приключением.

Rara per ignatos errant animalia montes.

Старый Силен, которого прекраснейшая из наяд измазала кровью тутовых ягод, — куда привел меня твой стих пропетый тобой Мназилу, юной Эглэ, фавнам и дубам лесов? Пой еще, воспой Пасифаю, божественный пьяница, и дай мне забыть мои печальные грезы.

XXIV

Филиппина Гоблэн.

Парижской зимою, когда улицы темны, влажны и холодны, и особенно приятны теплые и светлые гостиные, мы проводили прелестные вечера у господина и госпожи Данкэн, в старой улице Сэнт-Андрэ-дэз-Ар. Гостиная господина и госпожи Данкэн, хоть и заставленная шкапами с минералами и ископаемыми, предоставляла еще достаточно места для танцующей молодежи, и она кружилась перед этими свидетелями незапамятного прошлого, тревожась о вечной смене вещей не больше, чем ночные бабочки, водящие подобно им свои хороводы летними вечерами.

Постоянные посетители этого дома по большей части принадлежали к скромным семьям ученых и художников. Мужчины приходили в пиджаках, дамы в закрытых платьях. Никакой роскоши, никакого блеска, лишь добродушие и веселость. Каждую субботу — та же компания: Марта и Клавдий Бондуа, Эдмэ Жирэ и Мадлэн Деларш, две кузины, одна — длинная, бледная, с глазами, устремленными

в небо, другая—свеженькая, коротенькая, плотная, веселая, олицетворения любви небесной и любви земной. Говорили, что за любовью небесной дадут очень хорошее приданое. Бывали еще две или три племянницы и племянники, внучатные племянники и племянницы госпожи Данкэн, которая, хотя и не имела детей, была тем не менее как бы матерью Жигонь; мой друг Фонтанэ, недавно введенный мною в этот дом и мечтавший здесь царить; доктор Ренодэн, молодой врач, недавно поселившийся в этом квартале и создававший себе тут практику, невысокий черненький человечек, который мне казался старым, потому что ему было лет тридцать пять, но которого мне затем пришлось признать самым безумным среди нас. Немного человек богемы, немного педант, с запахом публичных бабов и амфитеатра, он удивлял своей пронизательностью; его умышленно грубая речь меня и интересовала и шокировала. Я был очень наивен и очень любопытен к тайнам природы, но недостаточно невинен, чтобы меня не шокировали грубые разоблачения, ранившие мои грезы и топтавшие мои иллюзии.

Я не знал, любил я или ненавидел этого маленького черненького человечка с синими щеками, ученого и шута. Двадцать лет спустя я считал бы Ренодэна хорошим собеседником и был бы не прочь прообедать с ним в компании с Анатолем Монтэглоном. Но в то время, о котором я говорю, я был щепетилен. Бывала у этих милых людей и Элиза Геррье, только что получившая в Консерватории приз по классу фортепьяно. Не знаю почему, крестный

предпочитал Элизу Геррье всем девушкам, восседавшим за его столом и украшавшим его дом.

Трудно было бы отыскать что-нибудь общее между этим толстеньким буржуа, немного старомодным, и юной лирической художницей, сумрачной, с красивыми крупными чертами лица, с чем-то мужским в облике.

Я—иное дело. Глубокое и, так сказать, прирожденное чувство античного искусства, конечно, заставляло меня ценить в Элизе Геррье красоту, в которой гармонично сочетались черты обоих полов; но если бы даже эта особа и оказывала мне некоторое благосклонное внимание, она не легко могла бы победить мою застенчивость; безусловно, она внушала мне священный ужас, и он еще увеличивался тем уничтожающим безразличием, которое она ко мне проявляла, вернее—которое позволяла мне угадывать.

В хронологическом порядке она была первой из тех прекрасных смертных, которых я принимал за богинь.

Девушка, к которой лучше всего приспособлялась у Данкэнов моя робость и разговор с которой наиболее полно удовлетворял мою жажду познания и мою потребность в весельи, была мадмуазель Филиппина Гоблэн, хорошая хозяйка и жадная читательница, с широким умом, перебрасывавшимся от благоразумия к безумию, то насмешливым, то меланхолическим; она все читала и все помнила, она и знала, и не знала, что очень некрасива, и пользовалась своей странной эрудицией, чтобы разнообразить космогонические шутки насчет своего яйцевидного носа и

яйца, образывавшего кончик носа, яйца мистического и плодоносного, как яйцо Орфея или яйцо Озириса.

— В один прекрасный день,—говорила она с важностью,—я, чихнув, выпущу из него множество крохотных гениев, веселых и печальных; они разлетятся по миру и, попав в мозг людей, сделают их более сумасшедшими и менее глупыми, чем они есть на самом деле.

Она смеялась, но очень охотно отдала бы весь свой ум за лицо Эдмэ Жирэ и за фигуру Мадлэн Деларш.

Я замечал это несколько раз, притом при обстоятельствах, которые заставляли меня призадуматься и впервые дали мне заглянуть в глубину женского сердца. Мадмуазель Гоблэн в этот вечер у Данкэнов была очень остроумна и танцевала с тонким художественным юмором какой-то испанский танец. Я искренно сделал ей комплимент, сказав, что она так умна, что обнаруживает свой ум не только в беседе, но и когда поет, смеется, танцует. Она слушала меня с довольно хмурым видом. Я сказал ей, что восхищен живостью ее ума, и стал подробно описывать все душевные способности, которые в ней обнаруживались. Когда я кончил, она пренебрежительно взглянула на меня и отвернула голову. Доктор Ренодэн подошел к ней и сказал:

— Вы всегда хороши собой, но вы лучше обыкновенного, если это вообще возможно, когда танцуете фанданго.

Мне этот комплимент показался достаточно глупым, но Филиппина посмотрела на Ренодэна счастливыми и нежными глазами, и эти глаза оправдывали льстеца, потому что в эту минуту радость действительно делала ее почти красивой.

У крестного много танцевали, и я до сих пор помню прелестную влажность, покрывавшую лицо Марты Бондуа после вальса. Доктор Ренодэн иногда вводил в танцы наиболее корректные некоторые из тех антреша, каким научился в студенческие годы на публичных балах в латинском квартале; госпожа Данкэн была слишком невинна и не замечала этого. Я танцевал очень плохо. Мадмуазель Гоблэн, с которой я часто танцевал, потому что ее приглашали реже других, страдала от моей неловкости и несколько раз предлагала давать мне уроки.

Я предпочитал танцам игры в фанты и шарады, которые у моего крестного были в большом ходу. Вспоминаю, как я целовал через спинку стула Эдмэ Жирэ и Мадлену Деларш; это были поцелуи, хотя и разрешенные, но не лишенные сладости. Но больше всего нравились мне шарады. В них были заключены все виды спектакля — драма, комедия, пантомима, балет, опера. Для декорации, костюмов и бутафории мы обирали все шкапы, мебель, посуду и кухонную утварь наших хозяев. Таким образом, эти спектакли не лишены были роскоши. Иногда случалось, что сценария для шарады просили у меня или у Филиппины. В таких случаях шарада, вопреки требованиям Буало, опускалась до самой низкой и самой веселой буффонады. У Филиппины Гоблэн был неистощимый талант. Несравненная актриса, она самым забавным образом разыгрывала свои смехотворные сочинения.

Наилучшим ее и моим (так как я сотрудничал тут с нею) произведением была шарада из трех частей; к несчастью, я забыл первое и целое, и это произведение

Сохраняется в моей памяти в таком же самом состоянии, в каком дошли до нас почти все греческие трилогии. Не спорю, в данном случае это не так уж обидно. Итак, помню второе; это было слово «танец»; был представлен царь Давид, танцующий перед скинией под аккомпанемент пророческой арфы. Давида изображала мадмуазель Гоблэн, прицепившая к ушам длинную бороду из голубой материи; в сочетании с данным ей природою носом, получалось достаточно выразительное лицо. В тюрбане из белого кашемира, с красным медным чайником, в плаще, она, вместо лиры, перебирала золоченую камышовую спинку стула и чинно исполняла иератический танец, обнаруживая длину своих ног и рук, угловатую сухость своих локтей и колен. Позади нее Элиза. Геррье пела, аккомпанируя себе на шумовке.

Ковчег же,—

От которого рушились гордые башни,
И назад потекли Иорданские волны,—

изображал рабочий столик госпожи Данкэн. Увидав, как он, повинаясь тексту песни, наклоняется то в ту, то в другую сторону, г-жа Данкэн из глубины гостиной кричала: «Моя вышивка!...» Ибо в ковчеге были туфли, которые госпожа Данкэн вышивала для г. Данкэна.

Но самый большой успех выпал на долю доктора Ренодэна; он, неведомо как, соорудил себе с таинственным искусством костюм полицейского, выскочил, потрясая громад-

ными кулаками, и с криком «Расходись! расходись!» разогнал весь Израиль.

Г. Данкэн хохотал так, что все его брелоки на животе дрыгали, и аплодировал доктору Ренодэну; его сатирическая игра была местью полицейским за те грубости, которые они позволяли себе в отношении парижан, поощряемые, как утверждали некоторые, императором и его правительством.

— Браво!—кричал мой добрый крестный, ненавидевший императора-племянника столь же сильно, как он обожал императора-дядюшку.

XXV

Путь в Багдад.

Я читал много и без разбора, и скоро с довольно странным удивлением заметил, что ничего не знаю, что даже не научился учиться и что блестящие мои познания были лишь легким покровом, сброшенным на глубокое невежество. Наконец почувствовал я прискорбные следствия бифуркации, и вред от того, что недостаточно внимательно слушал уроки геометрии, которые мне давал г. Мезанж, дремавший под звуки скрипок. Немного поздно начал я понимать, что только точные знания могут упорядочить и вооружить ум и что наши профессора литературы делали из нас лишь пустозвонов, существа ничтожные, неспособные ни на какую серьезную работу. Я признался во всем

отцу и под его руководством, с помощью умелых людей, к которым он меня направил, до некоторой степени изучил математику, химию и естественную историю, не для того, чтобы приобрести какие-нибудь знания, но чтобы дать себе возможность их приобретать. Я внес порядок в свой ум, и его способности от этого увеличились. К несчастью, и мое самодовольство возросло, во всяком случае, в такой же мере. Я стал нестерпим дома, и только по причине слишком большой робости не был таким и на людях. Благодаря той прискорбной проницательности, которая так повредила мне в жизни, я замечал, что отец не всегда прав, и я старался опровергнуть его рассуждения, что было дерзко и глупо.

Те качества, которые начинали развиваться в моем уме, не обещали быть слишком плодотворными для общества. Я еще не видел, какое может открыться для меня поприще. Отец и мать совсем не помогали мне в этом весьма трудном выборе, мать — потому, что она считала меня способным ко всякому поприщу, отец — потому, что не считал меня способным ни к какому.

Между тем, Фонтанэ превращался в ученую обезьяну. Он становился светским человеком, презирал Данкэнов и ценил теперь только богатство и происхождение. По его просьбе, нас — меня, Мурона и Максима Дени — пригласили в один дом в Сэн-Жермэнском предместьи, довольно известный своей оппозицией империи и очень замкнутый. Но церковь, эта превосходная демократка, господствовавшая в этом древнем доме вводила туда юношей из народа в надежде

найти и создать нового Вейо. Дом этот посещали бывшие пэры Франции, бывшие депутаты Национального Собрания, академики, важные вельможи; при своей величественности и отчужденности, они всетаки проявляли в своем обхождении с другими то сдержанное великодушие, какое свойственно защитникам проигранного дела. Я пил там чай стоя, с шляпой в руке, и несмотря на подталкивания Фонтанэ, слушал без улыбки старого знаменитого полемиста, который, проведя шестьдесят лет, как Люзиньян, в борьбе за славу Господа, еще сохранил юное красноречие и страстность, и обличал пред молодым поколением преступления якобинцев и покушение Бонапарта; он это делал с таким пылом, что не замечал, как льет чай из чашки себе в шляпу. Дамы сидели в одном из салонов, в строгом порядке, точно в театре. Насколько я мог судить, большинство из них были обязаны жизни в своих замках отличным цветом лица, некоторою свободою в жестах и несколько повышенной речью. Но я не видел ни в каком другом кругу женщин с такой простотой манер и разговора, хотя они носили самые громкие французские имена. Это общество внушило мне большое уважение. Оно мне понравилось, без сомнения, но я сам себе здесь не нравился, и потому в другой раз туда не пошел.

Фонтанэ ввел меня также в два-три салона делового мира, где с радостью встречали каждого танцора. К несчастью, я вальсировал плохо. И я сам это знал. Фонтанэ, также вальсировал плохо, но он этого совершенно не замечал, а потому и другие не замечали. Салон, где я имел

наибольший успех и где поэтому мне больше всего нравилось, был салон инженера Эрио, в ту пору еще мало известного, бывшего еще в первом расцвете своего честолюбия. Он тогда начинал щеголять своей роскошью и своим состоянием в очень хорошенькой квартире на площади Вандом. В ту пору французское общество справляло какой-то вечный праздник. Я не знаток по этой части, но, думаю, могу сказать, что господин и госпожа Эрио давали балы великолепные. Во всяком случае, первый бал, на котором я присутствовал, меня ослепил.

От света тысяч свечей и от хрустальных подвесок искрились и переливались драгоценные камни и жемчуга; большие зеркала Сэн-Гобэна (от них приходили тогда в восторг самые серьезные люди), окруженные тепличными растениями, букетами и корзинами цветов, в которых природа состязалась с искусством, отражали дам, с перьями в блестящих, как крылья птицы, волосах, при чем все они усердно подражали императрице Евгении в своих манерах и в своих туалетах, в декольте, вплоть до грациозной покатости плеч; они колыхали свои огромные кринолины, которые сейчас нам кажутся смешными, но тогда стройнейше предписывались модою, между тем как церковные проповедники об'являли их одеяниями чудовищными, изобретенными демонами ада; колебали своими веерами из перьев теплый и надушенный воздух, говорили вполголоса, тихо улыбались, двигались сладостно, очаровывали мужчин и старцев, опьяняли юношей в роде нас, которым казалось, что они перенесены в какой-то волшебный мир.

У мадам Эрио, к которой я отправился в ее приемный день, манеры были не так просты, как у тех дам, которых я встречал в холодных старых особняках Сэн-Жермэнского предместья, но она была гораздо приятнее. Худенькая, бледная, она очень походила на героинь Октава Фейе. Женщины выражали сожаление, что у нее плохой цвет лица. Но она умела сделать это незаметным, и я видел на этом красивом лице лишь фиалковые глаза, тонкий нос и грустный рот.

Ее грусть, слегка подчеркнутая, но подлинная, делала ее интересной. Госпожа Эрио не была счастлива. Очень интересуясь литературой, она говорила о Мирей со слезами, заволакивавшими ее глаза. Я ей понравился, и мне не для чего это скрывать, потому что такое расположение ко мне только возвышает эту даму, ибо моя неловкость, моя застенчивость, мое смущение, недоверие к самому себе придавали мне вид добродетели и невинности.

Госпожа Эрио как-то раз дала мне прочесть *Vita Nuova*; она была от нее в восхищении, я также был очарован, хотя не очень много в ней понял. Но ведь не подлежит сомнению, что в литературе вовсе не требуется понимать, чтобы восхищаться. Мы поделились своими впечатлениями, и они совпали. Так Данте Алигьери сблизил нас совершенно духовно и вполне его достойным образом. Как это обычно бывает в приличном обществе, я одновременно повышался в симпатиях и жены, и мужа, поэтому меня стали приглашать на интимные вечера и даже на «мужские» обеды. На них собирались финансисты, деловые

люди, инженеры, один оперный певец, один турецкий государственный деятель, один персидский дипломат. После обеда, в курительной комнате, наш хозяин, взяв золоченый ключ, отпирает небольшой шкаф палисандрового дерева со множеством плоских ящичков и доставал темные и светлые сигары, большие и маленькие, различной формы и аромата, и угощал ими с рассчитанной щедростью, соизмеряя качество предлагаемой сигары с достоинством лица, которому он ее предлагал; но делал он это так ловко, что замечали это лишь те гости, которым он подавал лучшую гаванну. Наученный этим примером, я понемногу понял глубину мелочной бережливости, таящейся под великолепием щедрости.

Эрио уже тогда готовил то грандиозное предприятие, которое и сейчас еще не осуществилось и которое изменит ось цивилизации—железную дорогу в Багдад. Его считали умом весьма положительным, человеком, умеющим добиваться результатов. Это не мешало ему выказывать себя филантропом и человеком гуманным. От старых сэнсимонистов, на которых он воспитался, он сохранил промышленный идеализм, своего рода экономический мистицизм, поэзию банковского дела, и это налагало на самые меркантильные его взгляды печать благородства, как могло бы даже шарлатанству сообщить подобие апостольской благодати.

Пораженный порывом наций к объединению, как он говорил, он рассматривал промышленность и банковское дело как две благотворные силы, которые когда-нибудь,

через ассоциацию народов, утверждают на земле всеобщий мир. Но, француз и патриот, о мире имевший идею наполеоновскую, он полагал, что единение народов должно быть делом Франции, и что Франция будет верховным руководителем Соединенных Штатов Мира.

Когда, мысленно пересекая Малую Азию, он перебирался через Тавр и Аманус, через Евфрат, плыл вдоль Тигра, этот маленький черненький человек поражал меня. Он двигал миллионами и поглядывал на сантимы. В нем было нечто от Наполеона, именно—его легкость проникать во все подробности, но не терять при этом из виду целого.

Мало образованный и романтически настроенный, он любил, подобно Наполеону, вызывать на своем пути великие имена истории—Вавилон, Ниневию, Александра, султана Гарун-Аль-Рашида. И этот маленький черненький человечек, с нафабранными унтер-офицерскими усами, был чудесен, когда говорил о том, как свистком своих паровых машин он разбудит крылатых быков дворца Саргона. Было что-то наполеоновское и в его вере в свою звезду, и в глубоком убеждении, что окончательно проиграешь дело лишь тогда, когда сам считаешь его проигранным.

Его голос находил великолепные оттенки, чтобы обращаться с призывами ко всем политическим партиям—к легитимистам, орлеанистам, империалистам, республиканцам, ко всем слоям общества—к ученым, инженерам, художникам, промышленникам, банкирам, поэтам; он привлекал на этот великий пир цивилизации и всех рабочих, и всех крестьян.

Однажды, когда я был у них в гостях, госпожа Эрио сказала мне, что ее муж через три месяца отправляется в экспедицию к берегам Тигра и что он был бы очень рад взять меня с собой в качестве личного секретаря.

— Благодаря этому путешествию,—добавила она,—вы могли бы развить ваш ум и обеспечить себе будущее. Не давайте ответа сегодня. Подумайте, посоветуйтесь с родителями. И уж потом дадите ответ моему мужу.

XXVI

Горе Филиппины Гоблэн.

Солнце термидора расстило свои огненные покровы по набережным, по реке и садам. Я вошел в Лувр с почти-тельным и интимным чувством. Влажная свежесть наполняла пустынные залы античной скульптуры.

Перед этими остатками несравненного искусства, рядом с которым все ничтожно и безобразно, охватили меня восторг и отчаяние. Опустившись на маленький диван перед Ареем Лувовизи, я испытывал жадное желание и жить, и умереть, сладкую боль, бесконечную печаль, опьянение ужасом и красотой. Я в одно и то же время чувствовал и безумное желание все видеть, все знать, все изведать, стать всем, и в то же время желание больше не думать, опьянение тем, чтобы больше ничего не чувствовать, очарование тем, чтобы больше не быть.

Я стал бродить по галереям, населенным статуями, среди этих естественных и искусных форм, которые выражают не только гармонию тела, но и мировую гармонию, и открывают нам все, что можем мы знать о вселенной. Понемногу, под влиянием этого искусства, которое—и красота и мудрость, мысли у меня стали ясными и светлыми. Я дал себе слово взглянуть спокойными глазами на жизнь и смерть, которые для нас—два аспекта природы и которые походят друг на друга как двое детей—Эрос и Антэрос,—которых встречаешь на изваяниях античных саркофагов.

Затем я прошел в ассирийскую залу. И перед крылатыми быками с человеческими лицами из дворца Саргона я принял решение поехать с инженером Эрио в те страны, куда влекли меня надежда составить себе карьеру, благородное любопытство и еще другие, очень различные соображения, среди которых, быть может, не самым последним было желание увидеть гробницу Зобеиды.

Думаю, хотя и не вполне в этом уверен, мысль о госпоже Эрио имела большое влияние на мое решение. Ведь именно она влекла меня в это предприятие. Ее фиалковые глаза, ее гармоничная красота, ее изящная голова очаровывали мою юность. Госпожа Эрио влекла меня. Уезжая, я удалялся от нее, остававшейся в Париже; я исчезал из ее прекрасных глаз, и они исчезали для меня. Но такова уж черта моей натуры.

Мои родители боялись слишком долгого путешествия, полного трудностей и опасностей. Но понимая, как трудна

всякая карьера, и уважая мою свободу, они не противились моему плану, казавшемуся им слишком смелым. Мать, когда [я говорил с ней об этом путешествии, улыбалась мне, а глаза у нее были опухшие от слез.

Улицы Парижа при приближении Нового года походили на ряды гигантских ящиков с конфетами и игрушками, глазированными фруктами, ювелирными и кожаными изделиями: туманы и иней точно укутывали их в вату и оберточный холст.

Я пошел проститься к моему бедному крестному, с которым почти не виделся за последний год. Я застал его сидящим в кресле; он стал как-то меньше, лицо с кулачок, колени распухли; выражение лица было непривычно печально; его сильно угнетала болезнь сердца, от которой ему и было суждено умереть.

— Они не верят в ископаемого человека,—сказал он, потрясая журналом палеонтологии.

Страдальческий смешок колыхнул брелок на его опавшем животе.

Госпожа Данкэн, совсем немощная, сидела по другую сторону камина в кресле, с костылями возле себя, и сохраняла свою постоянную веселость. Она говорила о всей той молодежи, которая ее интересовала: о молодых Бондуа, Эдмэ Жирэ, Элизе Геррье, которую, жаловалась она, больше не видит. Она сообщила мне большую новость—Мадлан Деларш выходит замуж за доктора Ренодэна, правда, немножко для нее старого, заваленного работой, но зато имеющего большую будущность.

— Мадлэн, — сказала она мне, — хорошенькая, умница, вы звали ее небесной любовью за ее мечтательные глаза и тонкую талию. У нее очень хорошее приданое.

Госпожа Данкэн подумала немного и продолжала про-
никновенным тоном:

— Мы не согласны с мужем насчет свадебного подарка Мадлэн. Муж хотел бы подарить ей серебряный кофей-
ный прибор. А я думаю, что пара жирандолей была бы как раз кстати в квартире доктора. Нужно немножко оследлять клиентов. У госпожи Деларш были для дочери другие виды, но она очень благоразумно мне сказала: «Дети должны жениться для себя, а не для своих родителей...»

Мы обнялись.

— Гьер, — сказал мне с остатками пыла мой бедный крестный, — если ты найдешь на берегах Евфрата что-нибудь доисторическое, вспомни обо мне.

Через несколько дней после Нового года я отправился проститься к господам Гоблэн, которые жили под самой крышею в высоком доме на улице дю Бак, под голубой стек-
лянной клеткой, которую занимал на крыше фотограф. Громадный дом был полон всяких магазинов и мастер-
ских. Магазины чая, китайских ваз и восточных ма-
терий наполняли ароматом первый этаж и бельэтаж. В каждом этаже привинченные к дверям медные дощечки обозначали искусства и ремесла, которыми занимались за этими дверями. В первом этаже можно было про-
читать — «Мадмуазель Эжени, моды», во втором — «Эрикур,

дантист», в третьем—«Мадам Юбер, корсеты», в четвертом на картоне, прибитом четырьмя гвоздиками, значилось: «Дитя Марии, еженедельный журнал». Госпожи Гоблэн жили в следующем этаже. Я нашел Филиппину, как всегда, длинной и нескладной, с жидкими волосами, маленькими глазами, большим ртом, и всю точно серой от грусти. Мать ее, совсем седая, с выцветшими глазами, со щеками словно из мятой шелковой бумаги, была уже какого-то неопределимого возраста. Обе женщины раскрашивали детские фотографии. Я сообщил, что уезжаю. Госпожа Гоблэн ответила, что господа Данкэн уже рассказывали ей об этом. Филиппина сидела со сжатыми губами и ничего не сказала. Как мне показалось, ее оскорбило, что она не первая об этом узнала, и я был благодарен ей за тот упрек, который, показалось мне, я прочел в ее глазах.

Я думал загладить это впечатление знаками внимания, спросил, выставит ли она в Салоне собрание своих миниатюр, и обещал прислать ей из Багдада несколько персидских акварелей, которые она так любила.

Она оживилась и попыталась замаскировать свою печаль искусственной веселостью.

Мать показала мне красивую азалию, стоявшую на фортепьяно.

— Смотрите,—сказала она,—что прислал ей ко дню ее рождения этот милый господин Данкэн,—а ведь он обыкновенно не очень щедр по этой части.

И, посмотрев на дочь с беспокойной нежностью, она прибавила:

— Филиппина родилась 20-го января, с тех пор прошло еще не так много времени, можно и отметить день рождения.

— Да,—сказала Филиппина,—я родилась 20-го января, под несчастным знаком Водолея. Те, которые родились под этим знаком, забывают дома зонтик, когда предстоит дождь. Всякий раз, как они надевают новую шляпу и проходят по улице под окном, где поливают цветы, им льют на голову воду, а если случится ветер, то на них падает и весь горшок с цветами. У них часто бывает насморк.

— Этакая сумасшедшая!—вздыхнула госпожа Гоблэн.

Филиппина пробовала еще балаганить, но видно было, что ей хочется заплакать. Я подумал, что причина этой глубокой печали—мой от'езд, и она не может этого скрыть. Приходилось сделать вывод, что она любит меня.

Раньше я никогда этого не замечал; напротив, мне казалось, что она не делала никакого различия между мною и всеми другими добрыми приятелями, с которыми была мила и ласкова. Это открытие, при всей своей внезапности, меня не удивило. Такая любовь мне сразу же показалась возможной, естественной, вполне в порядке вещей. Помоему, живой ум Филиппины, ее изысканный вкус, ее философия непременно должны были к этому привести.

Она показалась мне теперь, если и не более хорошенькой, то, во всяком случае, более приятной. Так как раз-

говор не клеился, я вообразил, что при расставании она шепнет мне на ухо: «Не уезжайте», а я отвечу ей: «Хорошо, Филиппина, я остаюсь», и радость, которой засияет ее лицо, переполнит и меня счастьем. И кто знает? Может быть, радость сделает эту милую девушку красивой. «Лицо у нее так меняется»,—подумал я.

Я встал, чтобы проститься. Заметив, что железная печка гаснет, Филиппина, ругаясь и проклиная, засуетилась, чтобы раздуть огонь. В одной руке у нее было ведро с углями, в другой кочерга, когда я стал с нею прощаться.

— Я завидую вам,—сказала она,—вы увидите чудесные страны... Если бы я могла, я бы тоже поехала путешествовать!.. Прощайте, господин Пьер.

На площадке я слышал, как она кричала:

— Эта чортова печка!

Я медленно спускался с лестницы и у дверей с дощечкой «Дитя Марии» подумал:

— Она мне ничего не сказала, не дала ни о чем догадаться. Конечно, присутствие матери, ее скромность, ее деликатность... Но не могу же я подняться назад наверх и воскликнуть: «Я остаюсь!»

Мне попалась навстречу толстая дама, поднимавшаяся к госпоже Юбер, корсетнице.

— Она интересуется меня, внушает мне симпатию, уважение, нечто в роде восхищения,—говорил я себе,—но я не люблю ее, никогда не полюблю. Я не могу и подумать о том, чтобы на ней жениться, не могу же я принести ей в жертву свою жизнь.

При этой мысли мои глаза остановились на вывеске дантиста Эрикура; она произвела на меня тяжелое впечатление, и я стал поспешно спускаться по лестнице. На площадке госпожи Эжени чувствовался сладкий запах ириса. Я на минутку остановился и подумал:

— Нет, я не хочу, чтобы эта девушка страдала из-за меня, заболела, может быть, умерла. Завтра я опять пойду к ней, улечу минуту, когда она будет одна, доведу ее до признания, вызову его, вернее—угадаю... Я скажу ей: «Я остаюсь». Я спасу ее и буду нежно любить.

Я уже предвкушал сладость жертвы, когда на площадке бельэтажа встретил мадмуазель Элизу Геррье.

Еще никогда не видал я ее такою: щеки были мраморно белые от холода. Скорее бессмертная богиня или дикое животное, чем женщина. И такая далекая, таинственная. Я, по обыкновению, стоял перед нею, как дурак и не знал, что сказать.

— Вы от господ Гоблэн?.. Как вы нашли Филиппину?

— Да как будто ничего...

— Она ничего вам не говорила? Вы ничего не заметили?

— Нет...

— У нее столько силы воли!..

Я пробормотал:

— О, да, она...

— Ей нужно много силы, чтобы перенести поразивший ее жестокий удар.

— Удар?..

— Брак доктора Ренодэна с этой маленькой дурочкой Деларш.

— А... Брак доктора Ренодэна...

— Бедная Филиппина! Правда, Ренодэн никогда ее не любил, но он давал ей повод это думать. Она совсем обезумела. Он женится на маленькой Деларш из-за приданого. Она сделает его несчастным. Но Филиппина от этого умрет.

И мадмуазель Геррье разразилась мрачным смехом, проклиная женское безумие.

XXVII

Мария Багратион.

*Êrato d'ou maloïs, oude rodô oude
kikinnoïs...*

Theokritou; Kyklôps.

Я не блистал внешностью, я плохо танцевал; в разговоре я, по свойству своей натуры, то предавался серьезности, то смешным выдумкам, и никогда не было у меня той легкости мыслей, которая нравится в обществе. Я всегда впадал в какую-нибудь крайность, был то умнее, то глупее других, и в обоих случаях был одинаково несносен. Влечение мое к женщинам, слишком острое, чтобы я мог его обнаруживать, делало меня подле них очень робким,—вот сколько оснований было мне не иметь в свете успеха. Я

замечал, что в некоторые дома, где я был представлен, меня больше не приглашали. Но был один салон, где я, повидимому, более или менее нравился, это—гостиная госпожи Эрио, жены инженера, которого я должен был сопровождать в его экспедицию в Азию. Госпожа Эрио принимала в своей богатой квартире на площади Вандом артистов, ученых, деловых людей и женщин разных положений, но одинаково отличавшихся блеском своих бриллиантов и величием своих кринолинов. Кажется, там бывало много евреев, но на это не обращали внимания,—так мало был тогда развит во Франции антисемитизм. Что я говорю? Евреев уважали, за то, что они, как Фульд и Перейр, занимали высшие места в июльском правительстве и в начале Империи. В этом салоне принимали иностранцев, турок, австрийцев, немцев, англичан, испанцев, итальянцев, и никто не ставил этого в укор. Париж был при Наполеоне III мировой гостиницей. Там с сердечным радушием встречали гостей, собиравшихся из всех стран мира. Не было и следа той ненависти к чужестранцам, которая позднее омрачила третью Республику, не было и признака той ненависти, тех подозрений, отравленных плодов поражения, которые победа, пришедшая пол-века спустя, только еще увеличила, и которые теперь уже никогда более не исчезнут. Больше всех нравилась мне в салоне госпожи Эрио сама госпожа Эрио, красивая, без внешнего блеска, худенькая, изящная, отлично умеющая говорить и ко мне относившаяся с симпатией. И вот, раз вечером, когда я был у них, я встретил там среди нескольких обычных

посетителей этого дома, по большей части турок, даму, которой раньше не знал и которой госпожа Эрио представила меня,—княгиню Марию Багратион. Едва я увидел ее, мои глаза точно заволкло туманом, я не мог произнести слова. Я почувствовал себя внезапно самым жалким из людей. В одно мгновение утратил я все свои чувства, все свои способности, самообладание, разум, и все это из-за женщины, от которой чувствовал себя дальше, чем от какого-либо другого существа. Обыкновенно я быстро замечал все подробности туалета,—тут я только разглядел, что она была одета в белое, что у нее было жемчужное ожерелье, открытые руки, да и это различил я лишь смутно. Как все это заслонялось нежным сиянием, исходившим от нее! Понемногу я разглядел, что у нее были каштановые волосы, довольно темные, черные глаза с золотым блеском, ровный цвет лица, что она была высокого роста, с развитыми формами, полная. От звука ее голоса я весь затрепетал, он ласкал меня и сладостно терзал; голос странный, слегка варварский, напевный. Не знаю, сколько времени я не мог заговорить. Гостиная незаметно для меня наполнилась людьми. Я стоял рядом с господином Мильсаном, который мне нравился и к которому я относился с доверием. Уж не знаю, какую он сначала затронул тему и как затем перешел к разговору о княгине Багратион. Но дальше наш разговор, напротив, крепко врезался в память. Узнав, что я никогда ничего об ней не слышал, он очень удивился. Сам он знал о ней лишь то, что говорили другие, и передал мне это в такой форме:

— Это—русская княгиня, живущая отдельно от мужа, который всегда в раз'ездах. В Париже она живет со своей матерью, которая нюхает эфир и которую никто никогда не видел. Полагают, что у них большое состояние, но сомнительно, чтобы они были настоящие Багратионы. Княгиня занимается скульптурой. Жизнь ее полна таинственности. Как она вам понравилась?

Я ничего не ответил. Г. Мильсан продолжал:

— Так как вы ей представлены, сделайте ей визит. Она принимает каждый день у себя в мастерской, на улице Басс-дю-Рампар, с пяти часов. Там можно встретить людей очень интересных. Тургенев, господин и госпожа Виардо, пианист Александр Макс, любопытные женщины.

Я дал себе слово не идти к ней, поклялся себе в этом, но я отлично знал, что пойду, и улица Басс-дю-Рампар уже была той целью, которая меня влекла.

Когда княгиня взяла чашку чаю, я подошел к ней; я видел ее все время в нимбе—и вместе с тем в четких очертаниях, что составляло самую яркую черту ее внешности. Движения у нее были широкие, свободные и более ритмичные, более музыкальные, чем у других женщин. Меня наполняло каким-то страхом то безразличие, которым были запечатлены ее черты, ее лицо, прекрасное и замкнутое, как могила. Если бы я хотел тогда определить, какое чувство испытываю к этой женщине, я, вероятно, сказал бы: ненависть, но ненависть безоружную, спокойную и прекрасную, как то существо, на которое она направлена. Она рано уехала. При ее от'езде я испытал такое чувство, будто она не

рассталась со мной, и что впредь, где бы она ни была, она будет подле меня.

Теперь, когда ее не было, я видел ее более ясно, чем в ее присутствии. Я отчетливо видел все: ее невысокий лоб, связанный с носом почти прямой линией, круги зрачков, где плавало растопленное золото в почти черном небе, ноздри, гордые, как крылья, полураскрытые губы, сближающие свои красные полукружия для прекраснейшего поцелуя наедине, сильную белую шею, широкую грудь. Да, я ненавидел ее за то, что она, не ведая того, отняла у меня жизнь и не дала ничего взамен, кроме призрака, так как ни на мгновение не обольщаясь я мыслью, что могу быть чем-нибудь для нее: я чувствовал в ту пору подле женщин робость, и долго пришлось мне потом от нее излечиваться. Но рядом с этой женщиной не робость испытывал я, а ужас, страх, священный трепет. Госпожа Эрио, когда я с нею прощался, сказала мне с колкостью:

— До свидания, милостивый государь. И извольте в следующий раз прийти с другим лицом.

Я понял, что мое страдание было сильнее, чем я думал, и что я выдал его, что все видели мое замешательство. Я был очень удручен. И эта удрученность стала еще тяжелее, когда я вернулся домой. Комната моя не была красива, но я ее любил; теперь она показалась мне отвратительной. Все, что было иным, чем та женщина, казалось теперь мне пошлым, ненавистным, и я не знал, где поселить тот призрак, что я принес с собой.

На следующее утро я ощутил его с собой, этот призрак.

Я пошел в Национальную Библиотеку и попросил нужные мне книги. Мне надо было составить заметку о Паоло Учелло. Неспособный думать, не владеющий своим умом, я всетаки пристойно справился со своей задачей и убедился, таким образом, что для успеха в умственной работе совершенно достаточно механического труда, раз есть природные способности, и что чаще всего лишь из гадкой лени ждешь вдохновения. Было 6-ое мая; я назначил днем своего визита на улицу Басс-дю-Рампар 14-ое мая. Тем временем моя любовная одержимость с каждым днем все ослабевала, становилась все мягче. Я понял, что нет смысла идти к той, которая оставила мне свою тень. И всетаки, 14-го мая я оделся с особенной тщательностью, выбрал самый свежий галстук. У меня были две булавки: одна изображала полураспущенный цветок из эмали между двумя золотыми листочками, другая была сделана из серебряной медали Александра с головой Юпитера-Аммона. Я отдал предпочтение медали, как более художественной. Припоминая, как я молчал и как был неловок, когда был представлен княгине Багратион, я думал, что она меня не примет. Ну так что ж? Мне нечего бояться, так как не на что надеяться. Дом был низкий, небольшая лестница вела в третий этаж, в мастерскую. Я вошел. Она встретила меня так, точно давно знала и, не оставляя стэка, извинилась, что рука у нее в глине. Она была в серой блузе, спадавшей прямыми складками. Эта блуза была целым откровением, драгоценным и поразительным в эпоху, когда женщины одевались так, что скрывали свои

формы под сооружениями портних. Теперь даже понять трудно, какую прелесть придавала женщине, подобной княгине Багратион, эта серая оболочка, уносившая ее на своих крыльях далеко от светской пошлости, в счастливую страну нимф и богинь. Теперь кожа ее не была позолочена светом свечей и ламп, как тогда, когда я впервые ее увидел, но падавший сверху, с потолка мастерской, дневной свет заливал лоб и нос, лежавшие в одной линии, и оттого лицо получало божественную чистоту. Она кончала бюст г. Виардо, уже старика, позировавшего ей в полудремотном состоянии. Она отходила от своего произведения, чтобы поглядеть на него, опять подходила к нему небольшими шажками, выдававшими легкую близорукость. Мне показалось, что в ее моделировке была сила и некоторая резкость. Мастерская была заставлена гипсами, старыми иконами. Всюду были небрежно разбросаны персидские ткани. Г. Виардо, которого я уже несколько раз встречал раньше, был у нее не один,—трое мужчин, один молодой, двое других пожилые, сидели на диванах среди вороха подушек. Сначала я не знал, кто они, потому что хозяйка никого не представляла. Они курили папиросы и вяло разговаривали. Прошло минут двадцать, и Мария Багратион обратилась к высокому белокурому юноше и сказала:

— Кирилл, сыграйте нам что-нибудь.

Он сел за фортепьяно и с поразительным блеском сыграл что-то. Я почувствовал стыд, что не знаю, что он играет. Я прочел на нотах: Шопен, Скерцо. Я следил

за движениями этой женщины, которые были для меня прекраснее всякой музыки.

Когда было разрешено перестать позировать, и Мария Багратион покрыла бюст мокрой тряпкой, г. Виардо понемногу пришел в себя, вышел из оцепенения. Это был большой любитель искусства, автор ценных трудов по испанской живописи. Да и вообще это был прекрасный человек. Он ласково высказал мне одобрение за то, что я сотрудничаю в большой работе о художниках. Муж самой совершенной певицы своего времени, он похвалил Кирилла Балашова за его пламенное и страстное исполнение. От него узнал я имя юного виртуоза. Я был в новом для меня мире, о котором раньше ничего не знал. Я простился, не обменявшись с Марией Багратион и двумя словами.

Я не знал ее, может быть, и не хотел знать. Более мудрый, чем я могу показаться читателям этого рассказа, более мудрый, чем я сам думал,—я проник в тайну Эроса. Я понял, что чистая любовь должна быть свободна от всякой симпатии, от всякого уважения и всякой дружбы, что она живет желанием и питается ложью. Истинно любят лишь то, чего не знают. Какими путями дошел я до этой недоступной истины? У меня было все, чего можно достигнуть в любви—у меня был призрак. Я носил этот призрак по лесам Медона и Сэн-Клу. И я был счастлив.

Я сделал визит госпоже Эрио. Она приняла меня почти так же ласково, как всегда, но о княгине Багратион не заговаривала. Г. Мильсан, бывший у нее, воспользовался минутой, когда на нас не смотрели, и спросил, бываю ли

я в мастерской на улице Басс-дю-Рампар. Я ответил, что бываю, но редко.

— Она не умеет принимать, это—дикарка,—сказал он.

Мои визиты в улицу Басс-дю-Рампар продолжались, не меняя характера. Каждый раз, как я переступал порог мастерской, мне казалось, что меня перенесли на другую планету. Раз я застал Марию Багратион одну, она стояла перед своим станком и пальцем гладила маленькую фигурку нагой женщины. Я хотел поговорить с ней об ее искусстве и, стараясь избегать пошлых похвал, стал хвалить силу руки, необычную для женщины. Повидимому, то, что я говорил, ей нравилось, но разговора на эту тему она не поддержала. Я думал его продолжить, заговорив о греческом искусстве, которым так пламенно восхищался. Она не последовала за мною в эти далекие области, и разговор на этом оборвался, чтобы более не возобновиться. Предоставляя художнице спокойно работать, я умолк. После двадцати минут молчания она мне указала на книгу, валявшуюся на диване и попросила прочитать ей ту страницу, которую она загнула. Это был том очень плохого издания Платона, переведенного на французский язык каким-то профессором. Отметка была сделана на следующем месте «Пира», которое я прочел вслух:

«Хотя в мире совершалось много прекрасных деяний, лишь очень немногие могли бы вернуть из ада тех, которые туда спустились; но поступок Алкесты показался богам и людям столь прекрасным, что боги, очарованные ее

смелостью, вернули ее к жизни. До такой степени верно, что великодушная любовь ценится даже и богами!

«Не так поступили они с Орфеем, сыном Эагра. Они вернули его в ад, не дав ему того, о чем он просил. Вместо того, чтобы вернуть ему его жену, которую он отыскивал, они показали ему лишь призрак, так как у него, как у певца, не хватило смелости. Вместо того, чтобы подражать Алкесте и умереть за то, что он любил, он вздумал спуститься живым в ад. И вознегодовавшие боги наказали его за его трусость, и он погиб от рук женщин».

Она слушала мое чтение с тем бесстрашием, какое вносила во все. Но при последней фразе она перебила меня следующим замечанием:

— Значит, Платон знал, что женщины смелее мужчин. Но тогда почему же в «Пире» он основывает свою теорию любви на противоположной мысли?

Она просила меня продолжать чтение. Через четверть часа пришла какая-то русская дама, которую звали, как я скоро узнал, Наталия Шерер. Они поцеловались и стали дружески беседовать. Наталии могло быть лет тридцать пять; она была очень хорошо сложена, очень крепкая, со вздернутым носом, с выдающимися скулами; это несколько напоминало дерзкую красоту фавнов.

В течение шести месяцев бывал я в доме Марии Багратион, ничуть не подвигаясь вперед в близости к той, которая меня принимала, даже не привыкнув к ее красоте, самый блеск которой заслонял ее от меня. Но эта женщина, столь мне чуждая, когда я приближался к ней, ста-

новилась близкой, как только я от нее уходил. Когда я мог убежать в леса, окружающие Версаль, я увозил ее с собою. Могу это сказать, потому что это правда. И, прижавшись друг к другу, мы выбирали сокровенные дорожки, пьяные от радости и скорби.

Однажды утром я прочел в газете:

«Вчера в полночь, в своей квартире на улице Басс-дю-Рампар, скончалась княгиня Багратион».

В газете больше ничего не было сказано. Я слишком мало знал ту, которая ушла, чтобы оплакивать ее утрату, но я был раздавлен. Это было крушение, земля разверзлась и поглотила мое сокровище, разрушая то, в чем для меня была заключена вся красота мира.

Я побежал к г. Виардо. Я застал его с пиянистом Кириллом Балашовым.

— Какая смерть! — выкрикнул я.

Голос Кирилла, точно эхо, повторил:

— Какая смерть!

— Мария Багратион покончила самоубийством, — сказал Виардо, — и притом способом, к которому женщины обычно не прибегают. Ее нашли утром в постели, в белом платье, с жемчужным ожерельем на шее, с револьвером в руке. Прострелен правый висок.

Я спросил, известны ли причины.

— Ее мать сумасшедшая, — сказал Виардо, — ее отец, генерал Багратион, также покончил самоубийством. Очевидно, была какая-то определенная причина. Но я ее не знаю.

Кирилл долго тряс своими длинными руками. Потом сказал:

— Общество приписывало ей многих и разнообразных любовников. Странное дело, те, которые, как я, часто у нее бывали, не знали, чтобы у нее был любовник. Впрочем, это ничего еще не значит. Пойдемте, простимся с нею.

Мастерская скульпторши была превращена в часовню. Покойница лежала на кровати. Маленькое круглое пятно виднелось на виске. От колеблющегося пламени свечей лицо казалось живым. Лишь трагическая бледность говорила о смерти.

В чертах лица было то же бесстрашие, какое было в нем при жизни, может быть потому, что она, как древние, считала выразительность врагом красоты. Ее одели в белое закрытое платье. Мать ее, сидевшая подле, худая, растрепанная, бросала взоры колдуньи. Друзья приходили маленькими группами и медленно удалялись.

XXVIII

„Не пиши“.

Уже почти два года, как г. Дюбуа приходил к нам лишь с очень большими промежутками, хотя раньше бывал постоянно. Повидимому, ему больше не нравилось у нас. За время коротких визитов он уже не поддразнивал мою мать насчет морали и религии. Прежде, когда я был ребен-

ком, он был щедр на рассуждения, отмеченные строгим изяществом, на обстоятельные, полные разнообразного содержания речи; теперь, когда я мог бы лучше их оценить, он стал на них скуп. Устал ли он думать и говорить? Начинал ли его тяготить преклонный возраст? Этого не было заметно, он не изменился, казался все таким же. Может быть, не находя во мне больше того мягкого воска, на котором он запечатлевал свою мысль, он уже не интересовался тем, чтобы сообщать свои идеи юноше, который противопоставлял им свои, порою — неумеренно и без достаточной почтительности. Как-то раз осенью раздался его властный и короткий звонок. Вошел г. Дюбуа. Большие темно-синие очки прикрывали глаза. Он сел в кресло, расправил на коленях фалды своего длинного сюртука цвета бутылочного стекла и заговорил так же великолепно, как в былые дни.

Из уст его обильно текли «божественные слова, как зимою снег на вершине холмов».

«Я думаю,—сказал он среди много другого, стоящего того, чтобы запомнить,—я думаю, мой друг, тебе должна быть близка идея прогресса. Теперь она пользуется всеобщим признанием,—и не удивительно ли, что такая идея торжествует в поколении, которое по своим малым достоинствам меньше всякого другого доказывает верность этой идеи? Но религиозное чувство, с каждым днем все ослабевая, позволило незаметно подменить себя идеей устойчивости, предписываемой догматом,—идеей бесконеч-

ного прогресса в свободе. Эта идея льстит людям, и этого достаточно, чтобы они признали ее истинной. Все идеи, единодушно ими признаваемые, непременно ласкают их тщеславие или отвечают их надеждам, это—идеи утешительницы. Им мало дела до того, обоснованы они или нет. Рассмотрим немного этот прогресс, который не сходит с языка у твоих современников. Что нужно понимать под этим словом? Если мы определим его грамматически, мы скажем, что это—увеличение доброго и злого, поскольку мы можем различать доброе и злое; и так представляем мы себе ход человечества. Но если, как это делается теперь, когда разучились и говорить и думать, мы скажем, что это—движение человечества, которое непрестанно совершенствуется, мы выскажем то, что не соответствует действительности. В истории не замечается такого рода движения, она показывает нам лишь ряд катастроф, и за движением вперед всегда следует движение попятное. Первые люди не знали искусств и были жалки, конечно, но успехи их потомства в промышленности принесли столько же зла, сколько и добра, и умножили страдания и нищету рода человеческого одновременно с увеличением его могущества и его благосостояния. Посмотрим на самые древние народы, оставившие памятники своего гения, и сравним их с нами. Строим ли мы лучше египтян? В чем превосходим мы греков? Я отнюдь не замалчиваю их пороков и недостатков. Они часто бывали несправедливы и жестоки. Они истощали свои силы в братоубийственных войнах. Ну, а мы? Наши философы — мудрее ли, чем философы древности,

найдем ли мы во Франции или в Германии мыслителя более глубокого, чем Гераклит Эфесский? Творим ли мы лучшие статуи и более светлые храмы, чем они? Кто посмеет утверждать, что в наше время появилась поэма прекраснее «Илиады»? Мы жадны до зрелищ, но могут ли наши спектакли сравниться по красоте с трилогией Софокла, представленной в афинском театре? Станем ли мы говорить о нравственных идеях? Нужно вернуться к элевзинским таинствам, чтобы найти наиболее возвышенные представления о смерти, какие только были у нашей расы. Перейдем к организации общества и к управлению им. Здесь было сделано мощное усилие,—это тогда, когда Август запер двери храма Януса и соорудил в Риме алтарь мира, когда громадное ведичие римского мира охватило землю. Но Рим погиб, мир, после его падения, был отдан варварам, которые даже еще и сейчас далеки от того, чтобы возобновить дело Цезаря и Августа, и осуждают их идею, из страха, что она явилась бы препятствием для удовлетворения их страсти к убийству и грабежу. И среди всех этих враждующих народов ни один человек не думает о таком учреждении, которое бы обеспечивало всеобщее спокойствие, об учреждении могущественных международных судилищ, которые, господствуя над государствами, сдерживали бы их в границах права. А если бы и нашелся гражданин, который бы заговорил о таком желании, такой новости, заключающей в себе спасение человечества,—он вызвал бы проклятия честных людей своей родины и всех родин за то, что хочет лишить патриотов их

самой дорогой привилегии,—привилегии убивать ради добычи. И это единодушие народов в ненависти и зависти достаточно ясно показывает, к какого рода прогрессу они устремлены.

«В науке мы значительно превосходим древних,—охотно это признаю. Науки слагаются из вкладов, делаемых последовательными поколениями. Требовалось больше гения, чтобы положить им начало,—и это было сделано греками,—чем чтобы довести их до степени того удивительного совершенства, как это сделали мы. Но история показывает, что эти вклады поколений не непрестанны. Мы знаем эпохи, когда вся культура гибла в обширных странах. Но даже и в те счастливые периоды, когда поколения последовательно прибавляли свою долю к совершенствованию наук, движение вперед знаний и рост изобретений, повидимому, не слишком содействовали улучшению нравов. И что, по-моему, больше всего приводит в отчаяние, так это—видеть, что когда наука, совершенствуясь, приносит новое и достоверное знание предметов, когда, для примера, астрономия открывает нам строение вселенной,—люди культурные все-таки неспособны встать в уровень с этим и отказаться от всего, не согласующегося с этим новым представлением о мире. Они остаются при своих старых заблуждениях, ложность которых им доказана, и тем свидетельствуют о своей удручающей глупости! Восхваляйте, господа, прогресс, гордитесь вашей все увеличивающейся способностью к совершенствованию, величайтесь, пойте себе хвалы, пока не сорветесь и не полетите вниз!»

Г. Дюбуа бросил эту тему и достал из кармана маленький томик в 18-ю листа, составляющий часть прекрасного собрания греческих поэтов, изданного в начале XIX века Буассонадом. Это был один из томов Еврипида. Он раскрыл томик на «Ипполите» и прочитал слова кормилицы. Прочитал по-французски, может быть, считаясь с тем, что при этом присутствовала моя мать, а вернее потому, что весьма мало доверял знанию греческого языка, как его преподавали в университете второй Империи.

«Вся жизнь человека—лишь мука сплошная, и отдыха нет от страданий. Но есть нечто более драгоценное, чем эта жизнь; облако тумана окутывает его, скрывает от наших глаз, и только потому безумно влечет нас мерцающая на земле жизнь, что не знаем мы другой жизни, только потому, что не ведаем, что происходит в аду, и обмануты мы сказками».

Г. Дюбуа вторично прочитал это место:

«Только потому безумно влечет нас мерцающая на земле жизнь, что не знаем мы другой жизни, только потому, что не ведаем, что происходит в аду, и обмануты мы сказками».

«Еврипид, — продолжал он, — был глубоким философом, и он вложил, может быть, несколько слишком щедро свою собственную мудрость в уста старой кормилицы царицы. Он прав, говоря, что люди привязаны к этой жизни, как бы дурна она ни была, и не ошибается, утверждая, что нас страшат сказки, распространяемые о том свете. Но я, не боящийся ада и не поддающийся обману сказок, сомне-

ваюсь, привязывает ли еще меня что-нибудь к этой жизни на земле, в которой я на протяжении более чем трех четвертей века, не испытал ни одного дня счастья. Пойми это, друг мой: хотя судьба избавила меня от великих страданий, которые с такою расточительностью она дарит многим смертным, хотя я и не испытал жестоких болезней и утрат, я не хотел бы снова пережить ни одного дня из моей жизни. И всетаки, говорю тебе, я словно жду, вопреки всем очевидностям, какого-то блага, какой-то радости от этой жизни, через обычные грани которой я уже переступил. В этом я — человек. Человек любит жизнь. И я должен признаться, если не по личному опыту, то хоть по наблюдениям над другими, что эта собачья жизнь (выражение принадлежит госпоже де Севинье) порой заключает в себе что-то хорошее, хотя я сам этого и не замечал. Она содержит в себе нечто хорошее: ведь мы знаем лишь ее, значит, из нее мы почерпаем идею добра, как и идею зла. Но способность к счастью не одинакова у всех людей. Как мне кажется, она сильнее у людей посредственных, чем у выдающихся или у тупиц. Нужно пожелать людям, чтобы они любили посредственность ума и сердца, посредственность поведения, посредственность во всем».

Бросив этот афоризм с обычной бесстрастностью, г. Дюбуа достал из кармана свой большой красный фуляровый платок и поднес к губам, потом, держа один его конец в зубах, растянул его обеими руками, приблизил так, как это делал старик Шатобриан в Аббей-о-

Буа, когда хотели и его приобщить к похвалам юному поэту, — так рассказывает г. Эррио в своей биографии госпожи Рекамье. Г. Дюбуа долго оставался в этой позе, потом спрятал платок в карман и спросил меня, что стало с изданием книги о художниках, в которой, ему помнилось, я принимаю участие и о которой больше не было никаких слухов.

Я ответил правду, а именно, что наша общая история живописцев не нашла тех средств, на которые мы рассчитывали, и что пришлось ее бросить почти в самом начале. Я прибавил, что это лишило меня приятного и исключительно полезного занятия и что теперь я сотрудничаю в большом словаре древностей, но что тут работа много труднее и гораздо хуже оплачивается.

— Заниматься такими работами,—ответил он мне, — составлять заметки о художниках древности и статьи по археологии—это очень хорошо. Эта работа не кормит, но зато и не приносит вреда тому, кто за нее взялся, конечно, если только он к ней способен. Хорошая компиляция не позорит того, кто хорошо ее делает, и даже может заслужить ему некоторую честь, не подвергая большим опасностям. Совсем иное дело, друг мой, всякое литературное произведение, на которое автор накладывает печать своего духа, себя выражает, обнаруживает, высказывает, словом, старается оставить свой след в поэзии, в романе, в философии или в истории. В такую авантюру не следует пускаться, если заботишься о своем спокойствии и независимости. Выпустить ори-

гинальную книгу — значит идти навстречу страшной опасности. Поверь мне, друг мой: прячь свой ум. Не пиши. Если ты выпустишь книгу слишком слабую, чтобы ее заметили и чтобы она извлекла тебя из неизвестности,—а это гораздо вероятнее, так как талант встречается очень редко,—благовари богов: ты этим избегаешь несчастья, ты, самое большее, рискуешь показаться смешным в тесном кругу. Это не страшно. Но если, сверх ожиданий, ты достаточно талантлив, чтобы быть замеченным, чтобы приобрести известность (не говорю уж о славе), если тебя начинают хвалить,—прощай спокойствие, безмятежность, мир, прощай покой, драгоценнейшее из благ. Свора завистников не перестанет лаять на тебя, несчетная армия бездарностей, наполняющая театральные залы и редакции газет, будет следить за каждым твоим поступком и будет их превращать в преступления, они засыпят тебя оскорблениями, они напечатают про тебя тысячи и тысячи клевет. И им будут верить. Не всегда верят злым отзывам, потому что не всегда верят правде; но клевете верят всегда, потому что она красивее. Журналисты, обязанные информировать общественное мнение, скажут, что ты изнасиловал свою мысль, убил отца, скажут, что у тебя нет таланта; конечно, твои книги создадут тебе друзей, но они будут далеки от тебя, рассеяны и немые. Они ничего не сделают, ничего не скажут. И они причинят тебе также большие огорчения. Они будут предпочитать твои самые посредственные книги. И когда ты напишешь страницы смелые и глубокие, превосходящие уровень читателя,—они не

пойдут за тобой. И всегда будут налицо завистники, чтобы доконать тебя.

— «Не пиши!»

Это был г. Дюбуа прежних дней. Это был вдруг вновь найденный г. Дюбуа! Он даже стал поддразнивать мать и описал ей способ употребления и удобство каких-то особых машинок для молитвы.

Когда он ушел, мать, следя глазами, как он удаляется по двору, заметила, что у него походка тверже и красивее, чем у современных юношей. Она поцеловала меня в шею и прошептала на ухо: «Пиши, мой сын, у тебя будет талант, и ты заставишь умолкнуть зависть».

* * *

На следующее утро мы узнали чрез рассыльного, присланного старой экономкой, Клориндой, что г. Дюбуа умер. Двадцать минут спустя я входил в квартиру на улице Сэнт-Анн, в которой был лишь один раз и которая оставила во мне чудесное воспоминание. В передней Клоринда рассказывала посетителям, что г. Дюбуа не проснулся, когда она принесла ему завтрак; она окликнула его, тронула за плечо, но он не подавал признаков жизни; тогда она побежала за врачом, и врач, придя вместе с нею, констатировал смерть, наступившую, по его словам, несколько часов назад.

Она заливалась слезами, и от нее пахло вином.

Я видел его на ложе смерти. Лицо его, при жизни темно-красное, теперь казалось высеченным из белого мрамора.

мора и как будто принадлежало человеку крепкому и еще в расцвете сил. Над его головой я увидел прекрасные нагие тела итальянской школы, которую он так любил, и ту «Селину» Жерара, которая взволновала мою юность.

Я снова перевел глаза на этого мертвеца, полного страшной красоты. Это был самый крупный по духу человек, какого я знал, какого мне довелось узнать за всю мою долгую жизнь, хотя я встречал людей, прославленных своими книгами. Пример г. Дюбуа и некоторых других, подобно ему не оставивших произведений, позволяет мне предположить, что самые крупные человеческие ценности могли погибнуть, не оставив по себе следа. И нужно ли очень уж удивляться тому, что презирующий славу выше того, кто ее завоевывает лъстивыми словами?

XXIX

Театр Муз.

Путешествие в Багдад все без конца откладывалось.

Я встретился у госпожи Эрио с одним крупным промышленником, Виктором Пеллерэном, страстно любившим театр. Это был очень грузный юноша, всегда потевший и сопевший, с вытаращенными глазами, вспыльчивый и добрый. Он получил от большой газовой компании, уж не знаю на каких условиях, в свое распоряжение огромную залу в Берси, устроил там театр и давал представления.

В этом театре была сцена, декорации, ложи и уборные для актеров. Назывался он Театром Муз, и если там весьма мало упражнялись в искусствах Евтерпы и Терпсихоры, зато усердно следовали урокам Талии и Мельпомены. Таким образом, имя театра было оправдано; но он был слишком классичен для эпохи, в которую еще господствовал романтический вкус, и не мог привлекать толпу; впрочем, это было слишком незначительной бедой для театра, куда вход был бесплатный, по приглашениям. Я лично находил, что название—очень красивое. Актерами были люди из общества, молодые любители, приятели Виктора Пеллерэна. Актрисы же были профессиональные, из Одеона и других парижских театров, в том числе две пенсионерки Французской Комедии. За минимальную плату Пеллерэн находил довольно умелых актрис и добивался от них прекрасных результатов. Этот толстый юноша соединял в себе все качества хорошего театрального директора, и было в нем то, что важнее всего,—большая бережливость. Нужно сказать, что это качество было ему крайне необходимо: театр, ничего ему не приносящий, стоил очень дорого. И ему едва хватало собственных средств. Мог ли он найти в каком-нибудь другом искусстве таких драгоценных сотрудников при столь скромных расходах?

Совершенно особое обстоятельство дало мне возможность присутствовать на репетициях Театра Муз. Я уже сказал, что Виктор Пеллерэн был превосходным директором. Он отлично выбирал пьесы. Так как каждую пьесу играли лишь три раза, ему не приходилось считаться со

вкусами большой публики, он заботился лишь о том, чтобы нравиться знатокам, и это ему хорошо удавалось. Когда я с ним познакомился, он уже поставил, в числе других, нигде не исполнявшихся произведений, «Алхимика» Бен Джонсона, первую часть «Фауста» Гете, «Искренних» Мариво. Потом явилась у него мысль сыграть «Лизистрату», и это было для того времени очень смелой мыслью. Имейте в виду, что я рассказываю вам о временах очень давних. Так как он знал мою страсть к искусству и литературе античной Греции, он подумал, что я мог бы ему помочь своими советами в деле перенесения Аристофана в Париж, и пригласил меня на свои репетиции, происходившие по вечерам. Я усердно их посещал не потому, чтобы считал, что могу принести хоть какую-нибудь пользу, но потому, что мне там нравилось. Гете, влюбленный в театр, говорил, что и посредственная пьеса, слабо разыгранная, может всетаки создать чудесный спектакль. Я думал так же, как этот божественный человек. И мое удовольствие начиналось с репетиций, на которых видишь, как хаос движений и слов понемногу преобразается в упорядоченный ряд интересных действий. Как это прекрасно, что мужчины и женщины, в сущности совершенно такие же, как все мужчины и все женщины, только что не хуже их, эгоисты, жадные, завистливые, ревнивые и желающие друг другу всякого зла, тем не менее, ревностно работают — для всех, и упорным напряжением осуществляют тот счастливый ансамбль, который их взаимно соподчиняет. Лизистрату играла Мари Невё, из Одеона, лучшая наша актриса и самая хорошенькая,

с крашеными светлыми волосами и черными бархатными глазами.

Она была душою Театра Муз.

— Я не отдаю предпочтения ни одной из этих девиц,— говорил Виктор Пеллерэн.—Если бы я это делал, я не мог бы вести дела.

Слова, недостойные хорошего театрального директора, каким он был. В действительности, он оказывал предпочтение Мари Невё, и ему было очень трудно управлять своей маленькой труппой. Оттого—его вспыльчивость и недовольный вид, оттого всегда был нахмурен его лоб, и глаза таращились. Но если бы он и не оказывал никаких предпочтений, все же ему приходилось бы сталкиваться с бесчисленными затруднениями, потому что в этом деле затруднения, и самого различного рода, рождаются на каждом шагу; именно за это он и любил свое дело, да еще за то, что мог проявлять свои пристрастия. У актеров, его приятелей, также были свои пристрастия. Пристрастия одних приходили в столкновение с пристрастиями других, но все как-то улаживалось. И у меня с первого же дня оказалось свое пристрастие, именно к Лампито, лакедемонянке, роль которой играла Жанна Лефюэль, из Одеона. Это—роль незначительная. Жанна Лефюэль попросила меня сделать «вставочки». И просила не напрасно. Прискорбное следствие любовной слабости: я искажил текст Аристофана! Себе в извинение могу сказать, что «Лизистрата» подверглась в Театре Муз очень значительным изменениям, и если бы сам Аристофан каким-нибудь

чудом услышал ее исполнение, он не узнал бы своего произведения. Но зачем искать еще каких-либо оправданий, кроме глазок Жанны Лефюэль? Они, эти глаза, были серые и в то же время не серые, такого серого цвета, которого еще никто не видел и никогда больше не увидит,— легкого, нежного, воздушного, эфирного, в котором были точно расплавлены светящиеся точки, еле заметные, которые всплывали на поверхность, утопали и вновь появлялись. У Жанны Лефюэль не было ни свежести, ни ослепительности дерзкой молодости Мари Невё, но она была лучше сложена, что большинством мужчин не особенно ценилось. Ибо их прежде всего привлекает лицо, и они уже снисходительно относятся ко всему другому. Кто это сказал? Специалист по этой части: Казанова. Он мог бы прибавить, что лишь очень немногие умеют ценить красоту форм. Я лично был весьма доволен, что Жанна Лефюэль сложена так, как она была сложена.

Роль Лампито, несмотря на мои «вставки», оставалась очень коротенькой. И у Жанны Лефюэль было много свободного времени; она проводила его со мной. Мы беседовали. Для этого приходилось забираться подальше от сцены, так как малейший шум в зале приводил Виктора Пеллерэна в ярость, и он бешено вопил. Жанне Лефюэль не требовалось много слов, чтобы привести меня в радостное настроение. У нее был природный ум, и может быть она была начитана немного больше, чем другие наши актрисы. Но не это мне в ней нравилось. Обыкновенно в разговоре тема его мало меня заботит, я охотно беседую и о

великих, и о малых вещах, но я хочу, чтобы тему трактовали по моему вкусу, а он не особенно возвышен: самые маленькие умы могут его удовлетворить, и напротив, самые крупные имеют шансы сильно его оскорбить. Женщины по большей части не отвечают этому моему вкусу. Очень редко люблю я их беседы, но когда люблю, то уж люблю до безумия. Буду откровенен: меня злит, когда говорят очень последовательно и обстоятельно. Предоставим это господам докладчикам. Речь — это, если вам угодно, картина; это сложная и законченная живопись. Разговор — ряд набросков. Ну, так вот, мои вкусы по части разговора совершенно те же, что и по части рисунка. Я требую от наброска, чтобы он был свободен, быстр, остер, выразителен, силен. Я хочу, чтобы он нарушал меру, преувеличивал действительность и тем давал ее лучше почувствовать. Того же я хочу и от разговора. Он доставляет мне наслаждение, когда проводит перед моими глазами ряд смелых набросков. В разговорах светских женщин этого обыкновенно не бывает. В разговоре Жанны Лефюэль это было непрестанно, и выходило у нее так естественно и легко. Каждый раз я точно перелистывал альбом Домье, и это было в ту пору, когда разговор женщины в салоне без конца развортывал перед вами страницы «*Revue des Deux Mondes*». Вещи, которых касалась Жанна Лефюэль, были, правда, совсем маленькие, но от того, как она их изображала, они чрезвычайно вырастали. Чаще всего она рассказывала про какие-нибудь закулисные происшествия, театральные и любовные соперничества, бешеные

выходки ревнивых женщин, рассказывала о том, как однажды в течение одного вечера, и даже того быстрее, рвалась, восстанавлилась и опять рвалась дружба между актрисами, о всяких проделках каботэнов, о том, как Пирр на сцене украдкой всунул яйцо в руку Андромахи, и как вдова Гектора перекладывала это яйцо то в правую, то в левую ладонь, когда протягивала царю Эпира с мольбою руки:

Приговор столь суровый выносите вы...

Этим прелестным искусством делать занимательной самую пустенькую болтовню она была обязана своей натуре, а затем и своей профессии, которая научает видеть и чувствовать, приучает к формам и характерным чертам вещей. Сколько приятных минут провел я, благодаря ей, в голой и плохо освещенной зале театра Муз!

Репетиция кончалась около полуночи, и люди благоразумные расходились по домам. Тогда мы начинали вызывать духов. Все эти женщины были спиритками. Не знаю, верили ли в духов сама Жанна Лефюэль, собственными руками заставлявшая столы неистово вертеться. Иногда стол разгорячался очень медленно, но она, в конце концов, добивалась того, что он начинал приподниматься. Как мог он без конца противиться давлению стольких нетерпеливых рук? Духов вопрошали типтологически, т. е. уславливались с ними то насчет букв, то насчет условного смысла ударов стола. Один удар означает *а*, два удара—*б*, три—*в* и т. д.

Или же: один удар значит *да*, два—*нет*. Таким способом духи давали нам ответы; некоторые из них не имели никакого смысла, и эти ответы были отнюдь не самые плохие. Так как я удивлялся, что ответы такие глупые, наша дуэнья, которую звали Терезой Дюфлон, ответила мне довольно основательно:

— Это—духи умерших,—сказала она,—а еще мало быть мертвым, чтобы иметь ум.

Так, однажды мы тщетно вопрошали о том, как себя чувствует одна матрасница, недавно скончавшаяся в Амьене. Бедная душа, которая всегда очень мало знала о жизни, еще меньше знала о смерти. И так было с большинством душ, беседовавших с нами чрез посредство стола. У него были свои излюбленные духи; одного звали Шарло, и он был очень дерзок на язык, другого—Гонзальв; в нем мадмуазель Берже признала одного своего любовника, который был ей очень дорог и которого она, к несчастью, потеряла. С глубоким чувством ассистировали мы при этих трогательных встречах покойника с живой. Но удары ножки стола—язык недостаточно богатый для выражения страсти, и Гонзальв стал нам надоедать. Одна из наших самых хорошеньких актрис, по имени Розмонда, с особенным пылом и тревожным любопытством, даже большим, чем у самой мадмуазель Берже, предавалась некромантии, после того, как ей удалось вызвать душу маленькой девочки Люс, которая в семь лет играла в Одеоне и умерла, повторив таким образом судьбу ребенка Септентриона, который дважды танцевал в театре Антиполиса и имел успех—

«*Biduo saltavit et placuit*». Розмонда осыпала Люс вопросами о ее столь краткой земной жизни и о ее теперешнем состоянии. Люс ничего не говорила и быстро уходила. Обращали внимание на то, что она стучит много легче, чем другие духи, и что ее быстрые появления и исчезновения вполне соответствовали характеру ребенка. Розмонда после долгих стараний вступила при помощи типтологии в сношения с теткой Люс. Среди других вопросов, которые она задавала этой покойной даме, она спросила, чья дочь Люс. Не удовлетворенная ответом тетки, любопытная Розмонда, наконец, свела знакомство с некоторыми усопшими членами семьи маленькой Люс, вела долгое и путанное расследование, все время смешивая мать и бабушку ребенка. И ее любопытство было не лучше удовлетворено, чем любопытство ученых, непременно желавших узнать, от кого родилась маленькая Мену из мольеровской труппы.

Несмотря на самые вольные шутки, на самые грубые мошенничества и самые откровенные мистификации, не прекращавшиеся во все время танца стола, эти женщины, из которых некоторые были умны, верили в присутствие покойников в этой большой зале, освещенной тремя свечами, где мы, подобно Улиссу у киммерийцев, были окутаны завесой мрака. Иногда, вдруг, безо всякого основания, нападал на этих женщин ужас, и они убегали, точно обезумев, кричали и кружились, как большие птицы, искали друг друга, отталкивали, путались в юбках, падали, призывали на помощь свою мать, крестились. А пять минут спустя вокруг подпрыгивающего стола опять раздавались

веселые восклицания, удивлённые крики и взрывы хохота. И так до двух часов ночи, до половины третьего.

После этого я провожал Жанну Лефюэль на улицу Ассас, где она жила. Это требовало не мало времени. Сначала приходилось отыскивать извозчика, что было делом трудным и неверным, особенно в дождь. Если везло, то через четверть часа или двадцать минут попадалась карета с красными занавесками, со старым кучером в ветхом сюртуке, которую влекла хромая кляча. Чтобы добраться в этом экипаже до Люксембурга, требовался добрый час. Но я не жаловался. Мы были одни и разговор был более интимный. Я говорил с нею совершенно искренно, с полной доверчивостью, с горячей потребностью вполне высказать себя, которая меня охватывала, когда я был подле нее. И она говорила обо всем, что ее занимало, совершенно не смущаясь и не стесняясь; но она высказывала далеко не все, и я чувствовал, что среди самых полных своих признаний она умалчивала о значительной части своей жизни, своих чувств и своих поступков. Конечно, она делала это из благоразумия; но, думаю, еще и потому, что она больше, чем можно себе представить, была оторвана и от прошлого, и от будущего: вряд ли еще какая женщина так отдавала свою жизнь только настоящему. Этому была она обязана миром своего сердца. Ей было неведомо раскаяние и она не знала тревог. Эта душа была ясна, как тихое море.

Карета останавливалась около номера 18 на улице Ассас. Если нужно было кончить какой-нибудь разговор, я

отпускал извозчика и поднимался с нею на третий этаж где была маленькая квартирка Жанны. Чтобы попасть туда, нужно было звонить, но заставить отворить входную дверь — вот в чем было дело, вот в чем был труд, как говорит Вергилий. После настойчивых усилий, дергая звонок и стуча в дверь кулаками и ногами, удавалось, наконец, разбудить швейцара. Сезам отворялся, и я получал награду за потраченный труд. Комната актрисы была небогата; железная кровать, ореховый комод и зеркальный шкаф составляли всю меблировку. Но все было безупречно чисто. Жанна оригинально украшала двери своего жилища, прибывая к ним стихи собственного сочинения в рамочке из нарисованных акварелью цветов. Эти стихи были милы, но содержали смущавшие меня ошибки против законов стихосложения. Теперь этих ошибок я не заметил бы. Я рассказываю вам истории давно минувших дней.

Раз утром, когда я зашел к ней, я застал ее за шитьем. Большие круглые черепаховые очки странно сидели на ее носу. Она была окружена множеством старых маленьких коробочек и шкатулочек, свидетельствовавших об аккуратности хозяйки. И именно такой больше всего люблю я вспоминать ее.

Через год после нашей встречи Жанна Лефюэль спокойно забыла обо мне. Мне всегда вспоминается о ней.

Счастье родиться бедным.

В последующие мои годы часто вспоминались мне слова Геродота, цитированные мне г. Дюбуа: «Знай, что бедность—верный друг Греции, Добродетель, дочь мудрости и хорошего управления, ее сопровождает». Благодарю судьбу, что я родился бедным. Бедность сделала мою душу отзывчивой, она раскрыла мне истинную ценность благ, полезных для жизни, которой без нее я не знал бы. Избавив меня от гнета роскоши, она сделала меня преданным красоте и искусству. Она сохранила меня мудрым и смелым. Бедность—ангел Иакова: она обязывает тех, кого любит, бороться с нею во мраке, и они выходят из ее объятий истомленными, но с более живой кровью, с более гибким станом, с более сильными руками.

Получая лишь малую долю в благах сего мира, я полюбил жизнь за нее самое, полюбил ее без всяких прикрас, в ее наготе, и страшной, и прекрасной.

Бедность сохраняет тем, кого она любит, единственное подлинное благо, какое есть в мире, тот дар, что составляет красоту людей и вещей, который разливает свои благоухания и свою прелесть в природе,—Желание.

«Жизнь людская сплошь скорбна, и нет перерыва нашим страданиям». Так говорит кормилица Федры, и вздохи ее груди не были никем опровергнуты. «И все-таки,—прибавляет старая критянка,—любим мы эту жизнь, потому что приходящее следом за нею—только мрак, о котором

рассказывают так много сказок». Мы любим жизнь, скорбную жизнь, еще и потому, что мы любим скорбь. И как ее не любить? Она похожа на радость и подчас с ней сливается.

Послесловие.

Эти воспоминания, служащие продолжением «Маленького Пьера», подлинны во всем, что касается главных фактов, характеров и нравов. Когда я начал вспоминать их в довольно беспорядочной и хаотической форме (в «Книге моего друга» и в «Пьере»), многие свидетели моего детства, о котором я рассказывал, были еще живы. И мне приходилось изменить их имена и их социальное положение, чтобы не задеть их гордости или не оскорбить их скромности. Этого рода чувства отличаются крайней чуткостью в людях, которым улыбнулось счастье жить в неизвестности. Самый вид их имени в газете тревожит их, в равной мере волнуют их и порицания, и похвалы, когда разоблачено их имя. Были еще живы мой отец и моя мать. Хотя я могу говорить о них только с похвалою, хотя могу только быть им глубоко признателен, я должен был затушевать эту благодарность.

Уже давно покоятся оба они, друг подле друга, под мшистым камнем, у опушки леса, который осенял своею тенью их мирную старость. И теперь, когда опустошительные годы пронесли свой поток над моим детством и все

унесли, я все-таки боялся бы задеть неловким движением свое сыновнее к ним благоговение в какой-либо из его струн, уходящих так далеко в прошлое.

И вот, мне приходилось или поступить так, как я поступил, или же совсем не печатать этих маленьких рассказов при моей жизни, как обычно и делают те, которые описывают свою жизнь или какие-нибудь части своей жизни. Позволю себе сказать, прибегая к пышной неточности выражения, что все мемуары — мемуары загробные. Но я не посвящал «моих детских лет» потомству и ни на одну минуту не предполагал, что будущие поколения могут интересоваться этими пустяками. Я теперь думаю, что всем нам, большие мы или маленькие, будет принадлежать бессмертие в степени отнюдь не большей, чем оно принадлежало последним писателям латинской античности, и что новая Европа слишком будет непохожа на ту Европу, которая теперь на наших глазах рушится, чтобы интересоваться нашим искусством и нашей мыслью. Не будучи пророком, я не предвидел страшного и близкого крушения нашей цивилизации, когда, тридцати семи лет, в середине своего жизненного пути, превращал маленького Анатоля в маленького Пьера. Мне лично было скорее приятно получить на бумаге иное имя и иное социальное положение. Так мне было легче говорить о себе, обвинять или хвалить себя, жаловаться, улыбаться, бранить себя, сколько захочется. Когда-то в Венеции жители, не желавшие, чтобы с ними заговаривали, прицепляли к пуговице своей одежды маску величиною в ладонь, и тем предупре-

ждали прохожих. Вот совершенно так же и это вымышленное имя не скрывало меня, но говорило о моем желании не быть узанным.

Этот маскарад был мне очень удобен еще и в том отношении, что позволял мне скрывать пробелы моей весьма слабой памяти и пополнять их воображением. Я получил возможность сочинять разные обстоятельства взамен тех, что выпали у меня из памяти. Но все эти комбинации вытекали лишь из желания показать правду характера; в конце концов, я думаю, никогда еще не лгали так правдиво. Жан-Жак в одном месте своей «Исповеди» сделал, помнится мне, приблизительно такое же признание. Я сказал, что память у меня скверная. Нужно объяснить: очень большая часть образов, ею воспринятых, тотчас же из нее улетучивается, но то небольшое, что в ней уцелело, держится чрезвычайно отчетливо, и мои воспоминания представляют собою прекрасный музей.

Такая манера писать о своем детстве представляет и еще одну выгоду, которая, по-моему, драгоценнее всех других. Она заключается в возможности соединять, хотя бы в самой малой мере, вымысел с действительностью. Повторяю: я мало лгал в этих рассказах, никогда не лгал в сколько-нибудь существенном; но, может быть, достаточно налгал, чтобы быть поучительным и занимательным. Истина никогда не являлась в нагом виде. Вымысел, басня, сказка, миф — вот те одежды, в которых люди всегда ее знали и любили. Я склонен думать, что без некоторого вымысла «Маленький Пьер» не понравился бы. И это было

бы жаль, не лично из-за меня, лишенного желаний, но из-тех душ, в которых он вызвал тихие мысли и которым открыл те скромные добродетели, что делают людей счастливыми. Не будь некоторой доли вымысла, «Маленький Пьер» не вызвал бы у них улыбки.

Однако, я не отрицаю того, что в этой оболочке вымысла есть и своя неудобная сторона. Как бы к ней ни относиться, неизбежны досадные последствия. Мой собрат Люсьен Декав, с его изысканным умом и большим чувством подлинности, показал, разбирая «Маленького Пьера», насколько потерял мой отец, обращенный моей фантазией во врача. Согласен, он потерял свою книжную лавку, а это не пустяк в глазах такого библиофила, как Люсьен Декав. Но вот что я знаю лучше всякого другого: мой отец вовсе не был привязан к этой, мною у него отнятой, книжной лавке. Он был совершенно лишен всякого коммерческого духа, и потому был гораздо больше склонен читать книги, чем ими торговать. Его ум, совершенно метафизический, не считался с внешней оболочкой вещей, он ничуть не любил книгу за ее форму и питал отвращение к библиофилам. Скажу, вовсе не желая говорить парадокс, что доктор Нозьер в своем кабинете более глубоко похож на моего отца, чем сам мой отец в книжной лавке. То, что я у него отнял, было делом лишь случая, то же, что дал ему взамен, вполне согласовалось с его натурой. Торговлю же старыми книгами я все-таки не совсем изъял. Да простит мне Люсьен Декав, приняв во внимание, что я открыл эту торговлю в другом месте—

для Жака Турнеброша. Кажется, г. Декав отметил самый важный мой промах. Надеюсь, никто не поставит мне в большую вину, что я перенес жилище моего крестного на сто шагов от улицы Гранз-Огюстэн, на улицу Сэнт-Андрэ-дэз-Ар, где жил Пьер де л'Эстуаль. У многих современников моего детства я совсем не изменил их привычек, многим, как г. Дюбуа, я сохранил и их подлинное имя, ограничившись лишь тем, что устранил его дворянскую приставку, которой он, впрочем, и не пользовался.

Я уже сказал, что, подобно Жан-Жаку, склонен сомневаться, чтобы кто-нибудь мог сказать о себе, что он лучше меня. Спешу прибавить, что из-за этого я вовсе не ценю себя высоко. Я думаю, что люди вообще более злы, чем кажутся. Они показывают себя не такими, каковы они на самом деле. Они тайком совершают поступки, которые вызвали бы к ним ненависть или презрение, и действуют открыто, так, чтобы их одобряли или ими восхищались. Редко приходилось мне случайно приоткрыть дверь, чтобы не увидеть зрелища, наполнявшего меня жалостью к человечеству, отвращением, ужасом. Что же мне делать? Нехорошо это говорить, но не могу удержаться.

Был ли я всегда верен истине, которую страстно люблю? Только что я похвастался этим. После зрелого размышления, я не присягнул бы в этом. В этих рассказах мало искусства; но может быть немного его и проскользнуло в них. А раз есть искусство, то есть и переделка, притворство, ложь.

Еще вопрос, приспособлен ли вполне человеческий язык для выражения правды? Он возник из крика животных

и сохраняет его характер; он выражает чувства, страсти, потребности, радость и печаль, ненависть и любовь. Он не создан для того, чтобы говорить правду. Ее нет в душе дикого зверя: нет ее и в нашей душе, и метафизики, толковавшие о ней,—лунатики.

Все, что я могу сказать—это то, что я был добросовестен. Повторяю: я люблю правду. Верю, что она нужна человечеству; но, конечно, человечеству еще больше нужна ложь, которая ему льстит, его утешает, дает ему беспредельные надежды. Без лжи человечество погибло бы от отчаяния и скуки.

Перевел с французского
Н. Эфрос

ОГЛАВЛЕНИЕ

	СТР.
I. Дают слишком мало	7
II. Горести дочери троглодитов	26
III. Самовольные каникулы	32
IV. Госпожа Ларок	48
V. Господин Дюбуа	51
VI. На распутьи	59
VII. Мурон-Канареечное Семя	70
VIII. Романтизм	86
IX. Очарования	94
X. Напрасная дружба	102
XI. Эглэ	111
XII. Бакалавры	116
XIII. Как я сделался академиком	119
XIV. Последний день в коллеже	131
XV. Выбор карьеры	133
XVI. Господин Энгр	146
XVII. Квартира господина Дюбуа	148

	СТР.
XVIII. Нет такой прекрасной розы....	161
XIX. Парадоксы господина Дюбуа	165
XX. Апология войны	167
XXI. Размышления о счастье	171
XXII. Мой крестный	177
XXIII. Отступления	185
XXIV. Филиппина Гоблэн	191
XXV. Путь в Багдад	197
XXVI. Горе Филиппины Гоблэн	204
XXVII. Мария Багратион.	212
XXVIII. «Не пиши».	223
XXIX. Театр Муз	233
XXX. Счастье родиться бедным.	244
Послесловие	245

„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“

Вышли в свет:

Каталог Западно-Европейской и Американской литературы.
Каталог Литературы Востока.
Принципы художественного перевода (Сборн. статей).
„Литература Востока“ сборники I-й и II-й.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОТЕКА:

- | | |
|-----------------------|---|
| <i>Д. Г. Байрон</i> | — „Драмы“. |
| „ | — „Дон Жуан“, ч. 1-я и 2-я. |
| <i>О. де-Бальзак</i> | — „Крестьяне“. |
| <i>Лили Браун</i> | — „Письма маркизы“. |
| <i>Э. Верхарн</i> | — „Поэмы“. |
| <i>Г. Гейне</i> | — „Путевые картины“, ч. 1-я и 2-я. |
| <i>В. Гете</i> | — „Фауст“, ч. 1-я и 2-я. |
| „ | — „Страдания юного Вертера“. |
| <i>И. Гердер</i> | — „Сид“. |
| <i>К. Гольдони</i> | — „Комедии“, т. 1-й и 2-й. |
| <i>Бр. Гонкур</i> | — „Братья Земганно“. |
| <i>Т. Готфрмман</i> | — „Музыкальные новеллы“. |
| <i>В. Гюго</i> | — „93-й год“. |
| <i>Ч. Диккенс</i> | — „Повесть о двух городах“. |
| <i>Э. Зола</i> | — „Западня“. |
| <i>Бласко Ибаньес</i> | — „Проклятый хутор“. |
| „ | — „Власть мертвых“. |
| <i>Ибн-Тусфейль</i> | — „Роман о Хайе сыне Якзана“. |
| <i>Эса де-Кэйрош</i> | — „Реликвия“. |
| <i>Ш. де-Костер</i> | — „Легенды об Уленшпигеле“, ч. 1-я и 2-я. |

<i>К. Лемонье</i>	— „Завод“.
„	— „Рог призыва“.
<i>А. Р. Лесаж</i>	— „Хромой бес“ и „Тюркарэ“.
<i>Ляо-Чжай</i>	— „Лисьи чары“.
<i>К. Ф. Мейер</i>	— „Новеллы“.
<i>П. Меримэ</i>	— „Театр Клары Газуль“.
<i>Монгольские сказки</i>	— „Волшебный мертвец“.
<i>Г. де-Монассан</i>	— „Милый друг“.
„	— „Сильна как смерть“.
<i>Новалис</i>	— „Гейрих фон Офтердинген“.
<i>Р. Роллан</i>	— „Театр революции“.
„	— „Трагедия веры“.
<i>О. Уитмэн</i>	— „Листья травы“.
<i>Усамх ибн-Мункыз</i>	— „Книга назидания“.
<i>Г. Уэллс</i>	— „Война в воздухе“.
<i>Г. Флобер</i>	— „Воспитание чувства“.
„	— „Саламбо“.
<i>А. Франс</i>	— „Восстание ангелов“.
„	— „Остров пингвинов“.
„	— „Рассказы“.
<i>В. Шо</i>	— „Пьесы“.
<i>Антология Китайских Лириков.</i>	

Печатается и готовится к печати:

<i>Г. Клейст</i>	— „Собрание сочинений“, т. 1-й и 2-й.
<i>К. Гоцци</i>	— „Сказки для театра“.
<i>Д. Дефо</i>	— „Робинзон Крузо“.
<i>Э. Зола</i>	— „Труд“.
<i>Стендаль</i>	— „Пармский монастырь“.
<i>А. Вольтер</i>	— „Орлеанская дева“, с фототипиями.

НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- | | |
|-----------------------|--|
| <i>П. Велуа</i> | — „Атлантида“. |
| <i>С. Бржозовский</i> | — „Зарево“, роман из эпохи народо-
вольцев“. |
| <i>Г. Верфель</i> | — „Человек из зеркала“, пьеса. |
| <i>К. Гамсун</i> | — „Соки земли“. |
| <i>Г. Гауптман</i> | — „Зимняя баллада“, пьеса. |
| <i>П. Гюэль</i> | — „Беседы А. Франса“. |
| <i>О. Генри</i> | — „Рассказы“. |
| <i>Г. Гольст</i> | — „Лирические драмы“. |
| <i>С. Лагерлев</i> | — „Гномы и люди“, рассказы. |
| <i>Р. Маран</i> | — „Батуала“, африканский роман. |
| <i>К. Мейринк</i> | — „Голем“, роман. |
| <i>Ж. Ромэн</i> | — „Доногоо-Тонка“, кинематографиче-
ский роман. |
| <i>Р. Роллан</i> | — „Кола Бреньон“, роман. |
| „ | — „Пьер и Люс“, роман. |
| <i>Э. Синклер</i> | — „Сто процентов“, роман. |
| <i>А. Франс</i> | — „Жизнь в цвету“, роман. |
| <i>Г. Уэллс</i> | — „Неугасимый огонь“, роман. |
| <i>К. Эдмид</i> | — „Шесть притоков“, новеллы. |

Печатается и готовится к печати:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <i>Г. Д'Аннуцио</i> | — „Ноктюрн“. |
| <i>О. Генри</i> | — „Короли и капуста“, роман. |
| <i>М. Маркс</i> | — „Женщина“, роман. |
| <i>М. Меттерлинк</i> | — „Белая невеста“, пьеса. |
| <i>Р. Роллан</i> | — „Клерамбо“, роман. |
| <i>Синг</i> | — „Герой“, пьеса. |
| <i>Экспрессионизм</i> | — Сборник статей с иллюстрациями. |
| <i>К. Эдмид</i> | — „Тимур“. |
| <i>Ф. Бремер</i> | — „Туманность Андромеды“. |

Вышли в свет издаваемые
„ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ“
ЖУРНАЛЫ:
„СОВРЕМЕННЫЙ ЗАПАД“

КНИГА 1-Я И 2-Я

ПОД РЕДАКЦИЕЙ *Е. И. Замятина, А. Н. Тихонова и
К. И. Чуковского.*

ПЕЧАТАЕТСЯ № 3.

„ВОСТОК“

КНИГА 1-Я

ПОД РЕДАКЦИЕЙ АКАДЕМИКА *С. Ф. Ольденбурга*, АКАДЕМИКА
И. Ю. Крачковского, ПРОФЕССОРА *В. М. Алексеева*, ПРО-
ФЕССОРА *Б. Я. Владимирцова* и *А. Н. Тихонова.*

ПЕЧАТАЕТСЯ № 2.

· **Оптовая продажа**

В ТОРГОВОМ СЕКТОРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА:

- 1) Москва, Ильинка, Биржевая площадь, уг. Богоявлен-
ского пр., № 4.
- 2) Петербург, Проспект 25 Октября, № 28.

Розничная продажа:

В магазинах Госиздата и в других книжных магазинах.

